

БОРИС
МЮК

МОСКВИ

РАСКЗЫ



Борис Мисюк

Юморские рассказы

«Издательские решения»

Мисюк Б. С.

Юморские рассказы / Б. С. Мисюк — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-749997-6

Автор сердечно благодарит друзей — моряков и рыбаков за неоценимую помощь в рождении этой книги: Фёдора Новикова и многих других.

ISBN 978-5-44-749997-6

© Мисюк Б. С.
© Издательские решения

Содержание

Слово о друге-писателе	6
О себе, любимом	7
Юморские рассказы	8
«Шилом» море не согреешь...	8
Пароход берёт отход	14
Бэсамэ мучо	27
Мои года – моё богатство, или Спасибо Шаламову	32
Юбилейщики	38
Пирожки с икрой	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Юморские рассказы

Борис Мисюк

© Борис Мисюк, 2016

© Всеволод Мечковский, дизайн обложки, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Слово о друге-писателе

Жили-были два брата, Борис и Владислав, с которыми я давно сдружился, посылал письма – одному на крайний запад страны, в Белгород-Днестровский, другому на противоположный край – во Владивосток. Оба стали писателями, Слава склонился к исторической прозе (попробуй избежать влияния Белой крепости¹!), а Борис, овеянный ветрами Великого океана, естественно, стал маринистом. Радовался я их успехам, радовался и географическому размаху, да вот время подбросило нам свои каверзы, в результате которых Владислав оказался в «другой» стране – на Украине, ставшей «ближним зарубежьем». Вышло, что Дальний Восток стал для Москвы ближе, чем Одесская область... К тому же в недобрый час от разрыва сердца скончался Владислав Семёнович Мисюк, Белгород-Днестровский без него стал для меня ещё дальше, а Борис – ещё ближе...

Теперь Борису Семёновичу надо жить и писать за двоих. Ему надо выполнить известный наказ о том, что «в России писатель должен жить долго». В этом слове слышится «долг». Много ещё предстоит написать Борису, таков его долг, его призвание, но и то, что он успел сделать – уже немало. Я встречаю каждую его новую книгу с уверенностью, что его талант, его чуткость откроют предо мной ещё одну вереницу интересных лиц, живых характеров на фоне таких морских (и земных) просторов, которые мне и не снились. Как будто смотрю кино. Всё видно и слышно. Австралия, конечно, для меня экзотика, но моряки, но люди-то наши, я с ними смеюсь и плачу.

Но Борис Мисюк не только проводник по неведомым краям, не только режиссёр-постановщик, живописец и портретист – он сам один главных героев своих книг, если не главный. Он постоянно (прямо или косвенно) присутствует в любом из своих произведений, его ум, доброта, юмор и жизнелюбие придают четвёртое измерение его прозе.

Мне нравится лёгкость письма Бориса. Он пишет, как бы шая, шутит, иронизирует – сам развлекается и развлекает читателя. Но это лукавая, обманчивая развлекательность. Писатель он серьёзный. Его порядочность, требовательность к жизни глубоко уязвлена острыми углами и пороками пережитого и переживаемого нами времени – от последних советских, «перестроечных» до теперешних рыночных (дико-капиталистических, а верней – криминально-бюрократических) лет. Читатель чувствует рядом с собою друга, весьма общественно-отзывчивого гражданина. Дай Бог, чтоб такими были не только писатели, но и депутаты!

Приглашая читателя в мир новой книги Бориса Мисюка, я понимаю, как нелегко сегодня ей добраться до «широкого» читателя. Нет теперь такого транспорта, который развозит книги по стране. В соседний город и то неизвестно – попадёт ли... Остаётся нам самим сообщать друг другу о хороших книгах и призывать на помощь Интернет. Как бы то ни было – книга не исчезнет, как не исчез театр с появлением кино и телевизора.

Я оптимист. Борис Мисюк – тоже.

*Кирилл Ковальджи,
г. Москва*

¹ Это древнее название города Б.-Днестровского.

О себе, любимом



Мы, пацаны военно-послевоенных лет, бредили, знаете чем – морской формой, лётной формой, ибо иных образцов красоты не знали. А ещё бредили этим, как его, НЗ, неприкосновенным запасом, выдаваемым носителям той формы. Море, небо и шоколад из обросшего легендами НЗ сливались воедино. И именно так в большинстве, бредя ленточками с золотыми якорями и ску-у-сным шоколадом, обворованные войной мальчишки становились моряками.

Флотским числю себя с пяти годов – как добыл первую свою бляху с якорем на ремень. С той бляхи всё и пошло. И мухой пролетела жизнь.

А может, не мухой, а чайкой? Жизнь оторванного от земли существа, не имеющего ни перепончатых лап, ни жабр. Ни семьи. Лишь весенний бриз, вдруг потянувший с берега, способен вызвать у этого существа лирическое восклицанье: «О! Кажись, помойки оттаяли. Весна! Щепка на цепку лезет. Пора и мне на берег...»

На берегу, однако, что-то не живётся, не пишется. Почти всё – девять из десяти книг – написано в море.

Автор просит:

Дорогие читатели! Приглядитесь: в конце каждого рассказа стоит год его рождения. Отразить свое время образно и понятно для людей нового века – задача любого писателя, большую часть жизни прожившего в XX веке. Вы замечали, до чего бывают интересны самые мелкие детали ушедшего? Даже такого далёкого, например, как век семнадцатый: чем жили люди, что пили-ели, как одевались в таком-то году...

Ну и, покончив с юморскими рассказами (не правда ли, как гармонично слились два слова: Юмор и Море?), будьте добры, настройтесь на серьёзный лад, ибо повести в отличие от рассказов – просто МОРСКИЕ, почти без «Ю».

Юморские рассказы

«Шилом» море не согреешь...

АЧТ набросился на ошмётки кальмара и, зверски урча, принялся пожирать их. Сизые с серебром, бесформенные ошмётки здорово смахивали на рваную плёнку в банке шаровой краски, когда плеснёшь туда чуток олифы и помешаешь щепкой. Противная такая рванина, но АЧТ от неё без ума. Я однажды записал на магнитофон его урчанье. На повышенной громкости слушать это невозможно – просто страшно. Думаю, львиный рык в пустыне не так леденит кровь. А если бы ещё увеличить самого АЧТ от котячьих до китячьих размеров, как сделал детский поэт, о, тогда всё – туши свет, как говаривал наш незабвенный боцман забывчивым электрикам.

Кит был маленький, домашний,
Кот – огромный, просто страшный...

И картинка: игрушечный китёнок, выгнув хвост, дурашливо сидит на заборе, а гигант-котище вразмахку плывёт по океану, пугая китобоев.

Лётчики, моряки, шахтёры, в общем все, чей «рабочий стол» качается, летает, рискует быть расплюснутым, в большинстве суеверны. Принадлежа к этому большинству, я и завёл себе чёрного кота АЧТ, чтобы нейтрализовать нечистую силу, клин клином, так сказать, котом котом вышибать. А имя просто из курса физики взял, из раздела оптики: АЧТ – абсолютно чёрное тело. В общем, как наша нынешняя жизнь.

Не дай Бог жить в эпоху перемен. Конфуций знал, что говорил! Тридцать лет отдать морю и вместо мяса, масла, которыми нас баловали на флоте, и даже вместо овощей, о которых мы лишь мечтали в долгих промысловых рейсах, остаться с сублимированной пенсией в зубах...

Чтобы не сдохнуть досрочно, я и вспомнил о кальмаре, о том, как ловили мы его, соревнуясь с японцами, которые знают в нём толк: кальмар – это ж чистый белок, притом он не мычит, не просит ни сена, ни стойла и заменяет говядину. Заменяет японцам, французам. Да весь мир, который мы называли «Запад», понимал это и ценил давно и прекрасно. И только мы со своим знаменитым «перекосом цен» до сих пор продолжаем ошарашивать здравомыслящих...

Только этот перекоп сейчас работает на нас. Я имею в виду себя и АЧТ и потому на эту тему пока умолкаю. Моя морозилка забита кальмаром, и каждый раз, доставая тушку-другую, я вспоминаю, как в начале восьмидесятых...

Мы рыбачим, вернее кальмарим с океанской стороны курильского острова Симушир. Весна, солнышко в небе, а небо, хоть и высокое, но какое-то заболоченное словно: там, в глубине-вышине гнездится серая, землистая муть. Наш РТМ, рыболовный траулер-морозильщик, с натугой, как конь тяжёлый плуг, тащит по дну громаду трала, «авоську», способную поднять тонн семьдесят. Тащит час и два, а вытаскивает («Маненько есть», – приговаривает капитан) килограммов двести-триста. Потому что кальмар – не минтай, больших скоплений нет, да и дербанят его здесь давно и многоручно. Возьми бинокль и насчитаешь до десятка таких же мощных РТМов. Это только на видимости, а за дымкой, за горизонтом – ещё полстолько.

Фабриканты, это значит, матросы, работающие в цехе, на рыбофабрике, за час, к тому же валиком, справляются с уловом – сортируют, разделявают, укладывают в блок-формы и замораживают. А трал тем временем снова пошёл в воду. Матросы-добытчики, работающие на палубе с тралом, для отличия от фабрикантов называются – тральцы. Пошёл трал в воду, змеятся на слипе ваера, стальные тросы-буксиры, а с катушки на «тайване» (похожая на мини-

надстройку арка над слипом) сбегают кабель прибора контроля. Прибор смахивает на модель самолёта. Начинённый батареями, он сигнализирует о заходе рыбы или кальмара в горловину трала. Повязанный с кабелем тросик вспарывает воду, струной звенит, скручиваясь от мощного натяжения. Тралыцы на стрёме (ах, точный и ёмкий эковский язык!) – считай, на переднем крае. Тут не зевай! Не то цепанёт – и мигом вылетишь за борт. И в лучшем случае поплаваешь в ледяной водичке. А в худшем...

Тьма глупышей над кормой РТМа. Это темносерые, короткохвостые, словно сутулые, чайки. В сравнении с изящными, стремительными белокрылыми красавицами чайками, они – бомбовозики. Толкутся над тралом тучей, сшибаясь в воздухе, то и дело напарываясь на кабель или ваер. Стальные пряди, с бешеной скоростью скручиваясь, захватывают перо, и всё – пошла птичка под воду.

– Эх, глупыш! – вырывается у тралыца. – О, ещё один! Ещё! Ах ты ж, вот глупыш, а!..

Видно, так и стали эти птички глупышами. Через час-другой поднимут трал, а на ваерах – тут и там, через каждые пять-шесть метров, мокрые трупы с распластанными крыльями. Потом, в непромысловые дни (шторм, бункеровка, перегруз продукции), они высохнут до фанерной площади, и тралец, которому надоест лицезреть эти жалкие чучела, выдернет их одно за другим и предаст морю.

Кальмарим у Симушира, пашем тралом многострадальное дно, на коем после нас и «трава не расти», забиваем свои рефрижераторные трюмы мороженой продукцией, соцсоревнуясь с другими РТМами. И вдруг – радиограмма. От самого высокого берегового начальства:

**ВАШЕМУ ЭКИПАЖУ ОКАЗАНО ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ ПЕРВЫМИ НА БАССЕЙНЕ
ПЕРЕЙТИ НА ПРОГРЕССИВНЫЙ ВИД ПРОМЫСЛА ЯРУСНЫЙ ЛОВ ВАШЕГО ОБЪЕКТА
ТЧК ПОЛУЧЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ РДО СНИМАЙТЕСЬ ПОРТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВА-
НИЯ ТЧК ИСПОЛНЕНИЕ ПОДТВЕРДИТЬ =**

И ПОДПИСЬ: САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ-АДМИРАЛЬНЫЙ...

Капитан наш, робкий с виду мужичок-колхозник, привыкший, по выражению боцмана, шлангом прикидываться, взял под козырёк и щёлкнул каблуками. Мы смотали удочки – кинули трал в трюм – и рванули домой. Рванули с радостью. Весна же. Щепка на щепку лезет – так наш боцман толкует весну. А тут месяц стоять в родном Владивостоке. Медовый месяц...

Навезли нам на борт кучу ярусных лебёдок, люстр, завалили палубу катушками со снастями – капроновыми верёвками, японской жилкой. Стук-грюк с утра до ночи. На пароходе и не усидишь – оглохнешь. Только вахта и выдерживает. Остальные – кто по домам, кто бабочек ловить. А «трио бандуристов» – кэп, зав, то есть заведующий производством, и дед (стармех) – каждое утро, что пацаны в школу, в главк маршируют, в «Дальрыбу». Береговые чиновники, рассказывал потом дед, учили их, как надо жить в море, объясняли, откуда у кальмара щупальца растут. Кэп, правда, добавлял, что не обошлось и без кой-какой пользы в том ликбезе: молодой ученый из ТИНРО поведал о всесветной головной боли, не морочившей еще нашей буйной социалистической головушки, – об угрозе белкового голода на планете, раскрыл маненько картишки с цифирками – международными, например, ценами на того же кальмара, сплошь из того же белка состоящего. «Дальрыба», а конкретней, ее самый rispetабельно-презентабельно-импозантный «Отдел внешних сношений» эти же самые цифирки за семью замками ото всех прячет. Как взрослые ховают от деток самое привлекательное – спички и презервативы. А еще тот ученый (трио сошлось на том, что это очень странный мужик: во-первых, с фиолетовыми глазами, а во-вторых, говорит так, будто всё время обижается), Олег Хвощук его звать, намякивал, что японцы дурят нас – через этот как раз сношательный отдел, – закупают кальмара прямо на корню, у наших берегов сотнями тысяч тонн.

А нам взамен они дают лицензию на отлов у их берегов копеечной рыбы, сельди-иваси. Боцман с этим не согласился и продекламировал:

Да на Руси
без селедки-иваси
и водку не соси!

Мол, для японцев та рыба пусть себе копеечная, а нам тот кальмар, может быть, до тети Фени, ага.

Надо сказать, все мы втихую были солидарны с боцманом. Ведь откальмарили ползимы да полвесны. Ты похрусти сапогами по алмазам, так и по грязи заскучаешь.

Наконец, приехал на борт представитель отдела внешних сношений и привез несколько здоровенных ящиков с заморским чудом – японскими кальмароловными крючками. Мы увидели их впервые и ахнули: ёлочные игрушки, да и только! Два сверкающих не то венца, не то ёжика, в каждом по шестнадцать игл из нержавеющей стали. Они сдвоенным зонтиком ошетилены кверху. А стебель зонтичный упрятан в пузатенькое пластмассовое веретёнце с блестящим колечком наверху. Главная красота заключалась именно в этих веретёнцах. Они были яркими, разноцветными: одни – густой кармин, другие – «розовые розы» (песня эта как раз звенела всюду), третьи – небо голубое, четвертые – свежая травяная зелень, пятые – шоколадки. Их так и хотелось – одни съесть, вторые нюхать, третьи просто понюхать в ладонях.

Весь экипаж (мы были уже на отходе, и нас держали только эти крючки) сбегался к ящикам. Море восторгов, ахов и охов. Цокают языками, щупают, нюхают, нюхают, нюхают, многие уже и пальцы в кровь искололи. Народные умельцы, механики в основном, да мотористы прикидывают тут же, как эту красоту декоративно-прикладным образом использовать. Кто-то уже и по карманам успел рассовать их, несмотря на колючесть. Представитель нескромного отдела заметил, видать, и сказал: «Джиггеры, так называются эти ловчие крючки, – штука очень дорогая. Золотом за них заплачено, валютой. Вы берегите их и экономьте. А то ведь может получиться так – джиггеров нету, кальмар под бортом кишмя кишит, а взять его – тютю – нечем...».

Береговой месяц – как ириска во рту. Ты её принял за жвачку, а она – раз, и растаяла. И вот мы снова в море, только теперь поближе к дому, в Японском море, у самых берегов родного Приморья. Соревнуемся с японцами.

Лето, июнь, море паром исходит, солнышко прошибает туман, и синий мир смеётся от радости жить. Ловим по ночам. Они обычно беззвёздны, безлунны. Врубаем бортовые люстры с яркими галогенными лампами, и кальмар собирается под бортом, бросается на наши ёлочные игрушки, хватается за них и...

Море наше до самого горизонта – в огромных, ярких светляках. Это японские шхуны кальмарят. Люстры у них помощней, лампы ярче наших примерно втрое. Но самое главное, уловы у них раз в десять больше!

В чем секрет? Где разгадка, где собака зарыта? И кто ту клятую собаку откопать может? Кто, кто, кто?..

Капитан на радиопереговорах с городом чуть не плачет: крокодил не давится, не растёт кокос. И вообще всё у нас, как в той песне: что они ни делают – не идут дела! Электрики собрали по судну все прожектора и чуть не все настольные лампочки из кают и все – туда, им, кальмарам чёртовым: нате, радуйтесь, прыгайте, хватайте. Что, у вас повылазило? Вот же они, джиггеры, вот, сверкают алыми ягодками, зелёными огуречиками, сладкими шоколадками. Что ж вы, в рот пароход, мимо прыгаете, как будто не замечаете, а? Вытаскиваем ярус, на котором с полсотни джиггеров, а кальмаров на них – пяток, ну от силы десятков. Явно же зацепились случайно, боком, мантией – просто мимо проплывали. «Лопухов ловим», – резю-

мировал боцман, похлопав себя по свекольным, заветренным ушам, припорошённым первой сединой. Ну почему, почему не хватают, почему не хватают такие красивые, такие яркие, такие, черт побери, вкусные крючки, по-че-му???

Может, японцы их мёдом мажут?.. А хрен же их знает!.. Может быть, лебёдки у них яруса не так дёргают?.. Нет, братцы, наверно, люстры наши всё же слабоваты против ихних. Вон гляди, шхуна – она ж как солнце, а мы – как луна...

Затребовали мы с берега новые лампы, поярче. Два НИИ целый месяц соцсоревновались друг с другом, перепахивая носами японские да американские технические журналы и бюллетени. Нашли искомое, выдали «рекомендации» проектировщикам, те обещали «в сжатые сроки» что-то родить. Но родить, как известно, человек может лишь через девять месяцев, ну через семь, если в сжатые. Да, а потом ещё заводу ведь столько же потребуется, чтоб родить окончательно... В общем, «Дальрыба», офонарев видно, от наших воплей, плюнула на свои НИИ и пошла за фонарями к воякам. У тех же, известное дело, и птичьего молока навалом, и всего-всего что нужно для народного хозяйства, только все это от народа и от его хозяйства засекречено. Однако защитнички «пошли навстречу нуждам» и за десять бочек красной икры (вот где начало конверсии и военно-меновой торговли) выдали десять суперламп из зипа суперсекретного гиперболоида известного военспеца инженера Гарина.

Ящички с лампами нам доставили на торпедном катере. Между прочим, ваты, которая была в тех ящиках, швейной фабрике, шьющей ватные одеяла, хватило бы на пару месяцев работы. Уминая ее сапогами куда-то впрок и стойко терпя подъялдыкивания машинной команды, боцман предложил выменять в Иванове наших мотористов-юмористов на тамошних швей-мотористок. Дескать, тройная совмещёнка будет...

Мечты развратника боцмана о медовом месяце прямо в море, представьте себе, реализовались, можно сказать. Но как-то очень уж извращённо. Да, не ивановские ткачихи «заколебали» нас в июле, а сами те лампы. Гарин-то проектировал их для супермощного гиперболоида. И как только мы включали их, наши бедные дизеля делали чах-чах-чах и чахли-глохли. Вырубало все до единого предохранителя. Электрики заменяли в них проволоочки на гвозди, потом гвозди на болты. Но обуглились и болты, и электрики тоже обуглились, такие ведь чистюли всегда, аристократы машинной команды, на вахту выходившие чуть не при галстуках.

Август пришёл. А мы не взяли и июньского плана. Море, солнышко, кончились туманы, синий мир смеётся от радости жить... Что? От радости жить? Да он над нами смеётся! Над дураками русскими, ловящими у своих собственных берегов собственного головоногого моллюска, ага, ловящими, но не ловящими. И это в то время, как рядом, борт в борт, его, этого самого головоногого, лопатой гребут жёлтые люди...

«Трио бандуристов», кэп, зав и дед в конце концов решились. Не зря, видать, говорят так: ума решился. Они решились на жуткий криминал. Прошу не забывать: начало 80-х.

И вот мы крадучись, под утро, после промысловой (для кого промысловой, а кто и просто балду прогонял) ночи пришвартовались к японской шхуне. Трио в полном составе перелезло через зыбкую границу. Я стоял на палубе и отмахивался от назойливых видений: лесополоса, пахота нейтралки, кусты и карацупы в зелёных фуражках. «Стой!» И длинная, как за водкой, автоматная очередь: та-та-та-та-та...

Часа через полтора трио в полном составе, но уже на бровях, нарушило границу в обратном порядке. Здоровила зав тащил картонный ящик с жестянобаночным пивом, дед-дохляк волок пачку ярких журналов, ослепляющих с обложек невиданными гологрудыми прелестницами. Кэп, крикнув, подозвал кока и повелел неожиданным для него царским жестом отдать туда, на шхуну, «маненько хлебца», сколько-то буханок.

На этом граница захлопнулась, железный занавес, скрежеща наподобие якорь-цепи, рухнул с розового рассветного неба меж наших бортов и, наверное, глубоко вонзился в илистое морское дно. Воровато-задорно гуднув, суда разошлись.

– Лебёдки у них, – рассказывали, проспавшись, «бандуристы», – от нашенских ничем не отличаются.

– Ага, спёрли, видать, чертежи в дальрыбовском НИИ, – бросил реплику кто-то из машинной команды.

– Лампы свои они нам разрешили только потрогать, – сокрушённо отвечал дед на пламенно вопрошающие взоры электриков.

– А с собой дали вот это, – кэп, виновато пряча глаза, выложил на стол пару невзрачных сереньких джиггеров.

Мы ревниво разглядывали их и ошупывали: нет, они не шли ни в какое сравнение с нашими. Оно и понятно, наши-то за золото куплены.

– На тоби, боже, шо мени негоже, – резюмировал зав, до вечера угощавший пивом каждого, кто заходил к нему в каюту.

Боцман дольше всех так и сяк вертел в своих копчёных лапах японческие джиггеры и наконец подвёл черту:

– Шилом море не согреешь, хреном душу не спасёшь...

До конца лета мы вели свой «экспериментальный промысел», то есть (боцмана любимое выражение) гоняли балду. Наш рейсовый отчёт для отдела добычи главка вполне укладывался в капитанову формулу из двух (не чтя союза) слов: хрен да маненько. Отделу внешних сношений докладывать нам было не о чем, а вот отделу, с которым непосредственно сношается этот отдел, какой-то павлик морозов из нашего экипажа доложил о наших внешних сношениях в море. «Бандуристов» долго и очень нудно сноша... то есть воспитывали в том нерыбном отделе, после чего капитана сделали старшим помощником капитана, а зава (наверное, за то, что не поделился пивом) списали на берег. Дед (видно, за то, что поделился журналами) отделался строгачом.

ТИНРО тоже живо интересовался результатами рейса. Фиалковоглазый учёный Олег Хвошук, отодвинув в сторону диссертацию, неожиданно увлёкся невзрачными японскими джиггерами. В конце концов, потеряв теорию и насев на опыты, он сделал научное открытие. Оказывается, из-за того, что солёность и цветность воды в Японском, Охотском и других морях разная, по-разному смотрятся там и тела, то есть и сами кальмары, и объекты их питания – рыбки, личинки. Когда японцы промышляли у Курил в океане, где работали тралом и мы, там эффективны были цветные джиггеры. Но мы, перепахав дно, подорвали тамошние запасы кальмара. И японцы перешли к нашим берегам, где кальмар тралом не облавливался, зато отлично реагировал на свет и клевал на серенький джиггер. Тогда-то они и продали нам свои «ёлочные игрушки»... «Ну да, – сказал по этому поводу себе под нос наш капитан, – теперь понятно, на что это он все время обижается». Кэп имел в виду голос Олега Хвошука, удививший их при первом знакомстве.

Между прочим, сношательный отдел «Дальрыбы» закупил тех цапок не то на мильён, не то два мильёна – на весь флот, короче, и на все будущие времена, ибо японцы пошли навстречу оптовому купцу и сделали небольшую скидку.

Сдав ярусные лебёдки, как и положено, в металлолом (нам было некогда возиться, и мы сшибали их с мест кувалдой), мы снова вооружились тралом и рванули, как боцман сказал «по старым адресам» на океанскую сторону Симушира. Пахоть перепаханное. По радио («Слушайте радиостанцию „Тихий океан“, программу для рыбаков и моряков Дальнего Востока!») нас так и называют: пахари голубой целины. Под стометровым слоем воды кто ж там разберёт, целина оно или давно не целина.

И вот опять мы долго и нудно, по два или даже по три часа уже, таскаем по дну свою «авоську», разинутую на семьдесят тонн, и вытряхиваем оттуда «хрен да маненько» – сто, ну сто пятьдесят кг. Тоска. Правда, все мы, считай, поголовно научились спасаться от неё – делаем потрясные брелоки: розовые, карминные, голубые, как небо, шоколадные и зелёные, как трава,

та самая, которая после нас – не расти. Золотые брелочки! Весь флот спасибо говорит золотому отделу золотых сношений...

АЧТ натрескался кальмарных ошмётков и разлёгся под телевизором – его любимое место. В октябре, правда, телевыстрелы его пугали, но нынче, слава Богу, уже без выстрелов живём. Снова телеболтовня пошла, только не централизованная теперь, не верховносоветская, а другая, дробная. Дусят опять нашего брата то патриоты, то демократы (кавычек на всех не напасёшься), то коммунисты, то социалисты, растущие капиталисты и давно отравившие себе «кухтыли» торгаши, бюрократы, казнокрады, разбойники в белых маскхалатах, в форме, в цивильном и даже в рясах. Ну когда же, когда мы, наконец, поумнеем, а, господа-товарищи?..

Боже, как славно было в море! Месяцами балду гоняешь, а тебя величают пахарем и кормят на шару. Да я как АЧТ жил! А что теперь? Остались теперь одни воспоминания. Море, море перед глазами, синее море и – глупыши, серенькие, как джиггеры, сутулые бомбовозики. И те, сушёные до фанерной площади...

Пароход берёт отход

Я очень спешил: моя плавбаза снялась с якоря во Владивостоке и уже часов пять-шесть полным ходом пилила в Охотоморскую промысловую экспедицию, а я застрял на Южных Курилах. Мне, кровь из носу, надо было скорей попасть на плавбазу. По заданию Рыбконторы я договаривался с местными добытчиками насчёт сдачи лосося на плавбазу. До начала лососёвой путины было ещё целых два месяца, но мы готовили телегу зимой. Точнее, весной. А сейчас плавбаза торопилась после длинного зимнего ремонта, вымотавшего у экипажа все силы, кошельки и сберкнижки, наверстать упущенное на охотоморском минтае. Мнение о том, что зав на базе – король на именинах, я никак не могу разделять, ибо сам – зав, то есть заведующий производством. После пьяной стоянки и полупьяного ремонта у зава забот, знаете ли, по самую плешь. Пять суток перехода до промысла – это обычно подбирание хвостов, отладка оборудования, сколачивание бригад и изгнание последних бесов. В общем самое продуктивное время.

Вот почему я и бился рыбой об лёд, дёргая островных связистов и тормоша пограничников: дайте мне связь с Сахалином, с рыбацкими конторами, скажите, когда будет «борт» на Корсаков, на Южный, на Холмск, да куда угодно! И мне, наконец, повезло. Мне дважды повезло: я связался с Холмским УМРЗФ, управлением морозильного, рыболовного и зверобойного флота, узнал, что у них на отходе в Охотоморскую экспедицию находится сейнер «Дубовцы», и узнал, что через час-полтора прямо на Южно-Сахалинск вылетает пограничный ИЛ-14. Ура! Значит, если я не опоздаю на отходящий сейнерок, то успею в проливе Лаперуза пересечь на свою плавбазу. Удача, редкостное везенье, тьфу-тьфу-тьфу...

И вот мы уже летим под сизыми кучевыми облаками, над сизым ребристо-гребенчатым морем, и я молюсь столь близким сейчас богам, небесному и морскому, чтобы «Дубовцы» не ушли без меня, чтоб их задержало что-нибудь – портнадзор, пограничники, таможня, да что угодно!

И вот мы уже приземлились в Южном. Мягкая посадка, отличная, солнечная погода. Я тут же ловлю такси до Холмска. Сплошная везуха, тьфу-тьфу-тьфу...

И вот уже, облегчённый от последних денег, я выскакиваю из такси перед конторой УМРЗФ и, размахивая полупустой сумкой, прыгаю через лве ступеньки на третий этаж, в диспетчерскую.

– Где «Дубовцы»? Стоят?! Ххэ... ххэ... хэ, – язык наружу.

– Должны были уйти, – спокойненько так, безразличненько. – Щас посмотрим, – листает журнал, затем поверх очков взглядывает на меня. – Власти заказаны на восемнадцать-ноль-ноль...

Я чуть не оторвал манжет на левой руке, узрел безжалостную стрелку, уткнувшуюся вниз, на полседьмого, и вскрикнул подранком:

– Где он?!

Диспетчер вальяжненько этак приподнялся в кресле, взгляделся в тёмный, униженный китовыми тушами сейнеров, заваленный сетями, толстыми чёрными сигарами пневмокранцев, контейнерами, испятнанный крупными предзакатными тенями причал и наконец изрёк:

– Нет, не вижу. Дебаркадер заслоняет. Они во-о-н там должны стоять, эти «Дубовцы», за ним... Бегите, может, ещё успеете...

«Спасибо» я выкрикнул уже в дверях. Горы вонючих неводов и тралов пролетали мимо, мимо. Сумка моя парусила за мной, как тормозной парашют за самолётом. Боже мой, думал я, сглатывая запёкшуюся под языком слюну, весь Сахалин-то на карте не больше тюльки, а тут по какому-то причалу его, понимаешь, полчаса бежишь и всё добежать не можешь. Бежишь, бежишь, бежишь и не можешь добежать...

Вот так жужжа я и прибежал к вожаемой цели, о чём свидетельствовали большущие белые буквы на чёрном борту: ДУБОВЦЫ.

По палубе ходили пограничники, те самые «власти» – два солдата и сержант в зелёных фуражках, с автоматами через плечо. Сердце моё оборвалось и повисло на тоненькой ниточке: может быть (Господи, помоги), а может и не быть (ох-ох-ох), нет, всё-таки может быть, они мне разрешат, пустят, внесут меня по-быстрому в дополнительную судовую роль. Я ж ведь просто не успел сделать всё официальным, законным путём, когда мне было успеть?..

С властями говорить, сами знаете, что с тигром в тайге. Помните Дерсу Узала: «Хорошо, хорошо, амба! Не надо сердиться, не надо!.. Это твоё место. Наша это не знал. Наша сейчас другое место ходи. В тайге места много. Сердиться не надо!..» Да, Дерсу-то хорошо, много места. А мне куда деваться? Мне именно этот вот пятак палубы нужен и никакой другой. И именно по нему амба расхаживает. Я застываю столбиком-евражкой, прислушиваюсь. Погранцы этак лениво, через губу, спрашивают у кого-то из членов экипажа, где, мол, капитан. В конце концов сержант, заголив наручные часы, останавливает на них затяжной взгляд (демонстративный такой, знаете, командирский жест) и изрекает:

– Всё, мы пошли, старпом.

– Да погодите, да он же сейчас, может, через пять-десять минут придёт, – выгибается перед сержантом старпом, серенький мужичок лет тридцати. – Вы б нам дали «добро» на выход, дали, а...

– Нет, без капитана я вам отход не дам, – на удивление мягко, прямо-таки по-человечески отказывает сержант. – До завтра!

– Что, сегодня уже точно не уйдут? – Вырывается у меня, когда погранряд проходит рядом. Амба улетучился, и у меня начал прорезаться прежний страх опоздать на randevu с базой.

– Да куда они уйдут без капитана! – Сержант, похоже, дивится моей наивности.

Я себя в наивниках не числил никогда. Во всяком разе, до «Дубовцов». Привыкший с высокого мостика на промысле взирать на сейнера, чёрными жучками расползавшиеся от борта плавбазы, разве ж мог я предположить, что один из таких жучков станет вехой в моей размеренной, вполне сложившейся жизни, посягнёт на нечто в самой натуре моей? Нет, ни за что и никому вот сейчас, на этом захламлённом причале УМРЗФ я б не поверил, что какие-то «Липовцы», пардон, могут изменить мой – выношенный! – детерминизм (в словаре иностранных слов найдёте), обратив его в самый настоящий индетерминизм (см. там же). Да это всё равно что, как бы вам объяснить посовременнее, превратить, допустим, бодигарда – в трубадура. Через бодибилдинг, разумеется!

Короче говоря, вступив на палубу рыболовного сейнера «Дубовцы», я начал таинственным образом превращаться в свою противоположность. Капитаново кресло в кают-компании, его любимое место на мостике (допустим, с правого борта, за локатором) никто и никогда не займёт, никакой уважающий себя моряк. Ну а о капитанской каюте и говорить нечего, это алтарь, святыня.

Старпом повёл меня прямо в капитанскую каюту. Я мысленно собрался и приготовился представляться капитану, который, как было сказано, придёт через пять-десять минут. Только бы не отказал взять меня. Я-то знаю, как не любят капитаны лишних людей на своём борту, всяких-разных пассажиров, как правило, скромных лишь во время знакомства, а затем начинающих претендовать на всевозможные удобства, привилегии, отдельную каюту, притом «с солнечной стороны» (это случай из жизни), персональное кресло в кают-компании и пр., и пр. И вот, значит, сижу я в капитанской каюте на кожаном диванчике, сижу с прямой спиной, прижав к бедру тощую сумку, жду.

Проходит десять минут. И двадцать проходит. И сорок. Затем ещё столько. Вздыхнув, словно выпустив пар, я расслабляю спину, «вот почему в гостях хорошо, а дома лучше», –

думаю и откидываюсь на спинку дивана. Потом, отыскав на столе, заваленном бумагами с тарелками и кружками вперемешку, консервную банку с «бычками», закурываю. Приоткрыв иллюминатор, невольно становлюсь свидетелем такого разговора:

– Ты умри сегодня, а я завтра, ага?

– Да нет, земля, не умирай никогда! Просто мне надо с женщиной, понимаешь, с женщиной попрощаться надо. Постой за меня до утра, а завтра я за тебя отстою. Две вахты отстою, земля ты мой родной!

– Нет, не надо мне две. Одну давай. Тащи одну бутылку, ага, и можешь отваливать.

– Да где ж её сейчас взять, земля, ночь на дворе!

Действительно, за иллюминатором было темно. Настольная лампа, прикрепленная к переборке на раздвижном штативе, горела, похоже, не первые сутки. Видимо, капитан привык к ней и не выключал никогда...

– А это, извини-подвинься, твоё лич-ч-ное горе!

После сей сакраментальной фразы у меня обычно отвисает челюсть. Наверное, то же самое произошло и с «земелей». За иллюминатором повисла тишина. Обе договаривающиеся стороны, кажется, удалились в одну сторону. Счастливый путь, ребята, желаю обоим отстоять до утра каждому своё. А вот что мне делать? Спать уже хочется. Намотался, день был такой длинный, длиннее Курильской гряды. Куда б голову приклонить?

И только я так подумал, как за дверью, в кают-компании, услышал голос старпома, голос незабвенный, выгибающийся, оказывается, не только перед властями:

– Слушай, кандюха, ты ж так уворишь нас. Обед не было, а ужина тоже нетути, а?

– Нет, чиф, ну ты даёшь! Я тебе что, из свежего воздуха обед изготовить должен? – Кандюха, то есть кандей, он же кок, раздалбывал непосредственного своего начальника. – Ты мне когда последний раз продукты выдавал?

– Вчера, – полувопросительно вякнул старпом, и мне его сразу почему-то стало жалко.

– Позавчера, – отбрил его Кандюха.

– Ну ладно, ладно, идём, идём, возьми там сколь надо тушёнки, картохи, настряпай чего-нибудь, а?

Он звякнул ключами, и оба исчезли минут на пять. Благо, сейнер – не плавбаза, от бака до кормы – всего-то метров двадцать. Когда же на плите зашипело, я не выдержал и открыл дверь. Интересно отреагировала эта парочка на моё появление. Чиф расплылся в повинной улыбке: прости, мол, дорогой человек, видишь, сколько тут забот, суеты всякой, подзабыл я про тебя. Кандей же, прямо наоборот, выстрелил дуплетом презрения из чёрных злых зрачков-стволов. Мне показалось, впрочем, что его презрение адресовалось не мне, а капитану! Магнетические глаза судового кормильца не отпускали от себя, и я увидел такую трансформацию: удивление (а это ещё что за бес?), мгновенное любопытство (что с тебя поймать можно, бутылку-то хоть выкаатишь?) и наконец гордая неприязнь (Господи, ещё один нахлебник).

Негоро! Это пиратское имя словно само выпрыгнуло на свет. От такого кадра, невольно подумал я, именно топора под компасом и можно ждать.

– Вы, наверно, кушать хотите. Извините, – старпом, извиняясь, кланялся, – сейчас, сейчас будет готово. Правда же, Кандюха?

Негоро, не удостоив его ответом, повернулся к плите.

Вскоре мы уплетали подгорело-сырую картошку с тушёнкой, на запах которой в кают-компанию стали слетаться орлы из экипажа. Длинный матрос в перемазанной суриком робе протянул коку эмалированную миску:

– Кинь от души.

Негоро брезгливо ляпнул в посудину общепитовскую пайку, уместившуюся на сердечке из нержавеющей стали, которым переворачивают блины.

– Мне ж для Макарыча, – спокойно объяснил матрос, – подбрось ещё.

– Мне по... для кого, для Макарыча или Лаврентий Палыча! – Взбеленился Негоро. Похоже, его вывело из себя именно спокойствие матроса.

Добавок всё же шмякнулся в миску, и матрос исчез.

Через двустворчатую рундучно-узкую дверь вышел из машинного отделения то ли механик, то ли моторист в замасленной спецовке и берете с размохраченным помпоном некогда красного цвета. Бахнулся на лавку, измождённо, как поленья к печи, бросил на стол грязные локти и гаркнул:

– Кандюха, корми!

Негоро высунулся из камбуза, хмурый, готовый к убийству. Сейчас ка-ак метнёт в крикуна секач или нож, подумал я. Но он лишь оценивающе взглянул и оценил-таки пролетарский экстерьер маслопупа. И наградил полновесной пайкой.

– Ложку! – Рывкнул пролетарий вдогонку исчезающему в камбузной двери коку.

Мы со старпомом поддевали жарёху алюминиевыми ложками, вилок на этом пароходе, я понял, не держали, считая это барскими закидонами.

– Нет ложек! – Бросил через плечо Негоро. – По каютам растащили, муфлоны.

– А это твоё лич-ч-ное горе! – Парировал гегемон, стоящий, как теперь стало ясно, вахту за землю, который пошёл прощаться с женщиной.

Негоро остановился, уже перенеся через камбузный комингс одну ногу, развернул торс в нашу сторону.

– Чиф! – Возопил он, и я увидел, как вздрогнул старпом, услышал, как звякнула ложка о его зубы. – Когда кончится этот бордель? Я ходить по их свинюшникам не буду! Где посуда?!

Старпом торопливо дожевал остатки харча и метнулся в каюту капитана. Там над койкой, в головах, висел коричневый пластмассовый микрофончик с чёрной спиралью шнура. Старпом щёлкнул тумблером и громогласно, на весь пароход, трижды дунул в микрофон:

– Фу! фу! Ффу-у-у! Внимание членов экипажа! Кто брал посуду с камбуза... и ложки, просьба принести в кают-компанию!

– Просьба! О-о-у! – Взвыл-зарычал Негоро.

– Немедленно! – Испуганно добавил чиф в микрофон и снова щёлкнул тумблером.

Машинный пролетарий, не дожидаясь результатов чифова воззвания, овладел его ложкой, одним движением обтёр её своей чёрной полкой и сосредоточенно приник к миске. Мир был восстановлен. Мы уже допивали полухолодный, явно позавчерашней заварки чай, когда в кают-компанию просунулась заспанная прыщававшая физия упитанного юнца. Он держал в руке миску с закозленной в ней то ли гороховой, то ли иной какой массой, из которой торчало целых три алюминиевых черенка. Кандей кинулся к юнцу, как к родному сыну, потом, разглядев в миске «козла», длинно, по-боцмански отматюгал, выхватил миску и добавил:

– Если ещё раз, понял, Трояк, ты мне такое притащишь, я тебе эти ложки в ж... засуну!

Трояк, то есть третий штурман, третий помощник капитана, выслушав кока самым глухонемым образом, без малейших эмоций, сел за стол и словно прислушался к себе. Он ощущал какое-то неудобство, наконец разобрался, полез рукой в задний карман трико, вытащил оттуда белую эмалированную кружку с печатью губной помады и поставил на стол.

– О, – сказал он. И больше до конца чаепития я не слышал от него ни слова. И если краткость – сестра таланта, а молчание – золото, тогда Трояк – гений и первый богач на острове.

Произведя такое сложное умозаключение, я вдруг почувствовал усталость. Она свалилась на меня неожиданно, как мешок со штабеля. Усталость ото всего этого долгого дня, перелёта, переезда, переживаний, перебежки, пере... И от парохода этого я тоже уже устал. И спросил старпома:

– А где бы мне голову приклонить? Что-то спать захотелось, притомился за день.

– Так вот же, вот же вам каюта! – Радостно, восторженно и удивлённо вскричал чиф, тыча пальцем в голубую дверь с чёрной табличкой: КАПИТАН. Он делал мне царский пода-

рок, он был в восторге от таких своих чародейских возможностей, ну и, естественно, от души поражался, почему я не радуюсь этому вместе с ним. Ведь моя-то радость двойной должна быть: я ж получаю лучшую на пароходе каюту!

– А-а-а, – заблеял я, – а если капитан придёт?

– Не придёт! – Просиял старпом, воскликнув это с такой твёрдой уверенностью, какую в нём предположить было чрезвычайно трудно. И этим сразил наповал моё внутреннее сопротивление кощунству: мол, как же можно, орлы мои золотые, так грубо нарушать вековые морские традиции?

Вопрос сей очень вяло ворохнулся в моём уже дремлющем сознании, и я послушно двинулся к голубой двери. Слева от неё висела мини (как всё на сейнере) доска объявлений с приколпленной бумажкой, гласившей:

Внимание! Всему экипажу быть на борту в 14 часов.

Капитан Демьянченко

С трудом удерживая веки полуоткрытыми, я мысленно пробормотал извинения капитану Демьянченко, вошёл в его каюту и нераздетым повалился на диван, сдвинув в изголовье кипу старых, истрёпанных газет.

Кто бывал на рыболовных сейнерах, тот видел этот капитанский диван, опять-таки мини, на нём не только никакую «бикини» не разложить (так что морским байкам о капитанских-донжуанских подвигах на том диване не шибко верьте), но и самому-то, даже если ты не гигант, а коротышка, приходится койлаться, как говорят моряки, то есть скрючиваться, поджав ноги.

Тем не менее я ухитрился выспаться и туманное апрельское утро встретил с оптимизмом. Ничего, что randevу с плавбазой в проливе Лаперуза не состоялось, зато я ведь уже не болтаюсь где-то на Курилах, а вполне определился и нахожусь на борту шустрого сейнера. Сейчас придёт капитан, мы отчалим и потопаем на промысел. Кстати, пока будем топтать, я свяжусь по радио с базой, узнаю обстановку на борту и дам кой-какие цзэ. Поуправляю, так сказать, дистанционно родным производством...

Туманное утро постепенно перешло в пасмурный день, затем – не скажу, что незаметно – в ранние сумерки. И за всё время я только четверых членов этого доблестного экипажа лицезрел живьём: опять-таки кока, самоотверженно сварившего в обед суп из сайровых консервов, старпома, ставшего ещё более виноватым и прогнувшимся, того же требовательного машинного пролетария и сменившего его аж к вечеру Земелю, третьего, как выяснилось, механика. Пролетарий же оказался вторым механиком, то есть хозяином машины, корабельного, так сказать, сердца. Получив выстраданный могоарыч, он, сердешный, быстро этак, словно провалился, исчез в недрах парохода и появился снова на свет божий, то есть в кают-компании, через час совершенно готовым зюзей. Такая скороспелость, решил я, объясняется либо закалкой-тренировкой, то есть алканавтским профессионализмом, либо элементарным отсутствием закуски. Утверждая меня в последнем, он пошарился на камбузе, изыскал у плиты кус полужидкого масла, ополовинил его, размазал по хлебной горбушке и вонзил в неё зубы. В этот самый миг и вырос на пороге Негоро. О, это было самое настоящее явление Громовержца.

– О-у-у! – Взревел он, мгновенно оценив урон, нанесённый механиком. – Ну, хрен вам теперь, а не жареная картошка! Ты ж, змей, последний шмат маргарина сожрал!.. О-у-у, как вы меня заколебали все! Вот бордель, так бордель!..

Перечитав за день половину «подушки», состоящей из двух подшивок сахалинских газет, я снова задвинул их в изголовье и отошёл ко сну. Отошёл, отплыл, отчалил. Ибо во сне камбуз «Дубовцов» вознёсся выше капитанского мостика и воцарился на его крыше, то есть на пеленгаторном мостике, где как раз имеется запасной штурвал. Негоро отбил склянки поварёшкой по кастрюлям, ухватил штурвал и рывкнул суровым своим баритоном в переговорную трубу, немного смахивающую на самоварную:

– В машине! Кончай бордель, вашу мать! Запускай двигун!

Как ни странно, «Дубовцы» вздрогнули, лошадиные силы в машине затабунились, из трубы, почему-то из той же, переговорной, прямо в нос Негоро ударил сгусток чёрного дыма. Самозванец, мигом ставший негром, пролаял туда, в дым, что-то невнятно-нецензурное, резко отвернул трубу в сторону, вынул из кармана украденный из капитанской каюты коричневый микрофон со спиральным шнуром, и по всему пароходу разнеслось громогласное:

– Наш капитан... снимите шляпы, муфлоны... безвременно сгинул... от голода!.. Вы сожрали последний маргарин. Па-след-ний! Больше нет. Чиф, подтверди!

– Да-да, – донеслось откуда-то снизу, с капитанского, похоже, мостика, подобострастное. – Нетути больше, нетути...

– «Нетути» и капитана, – передразнил его кок. – Всем остальным... слушать мою команду... – Он прочистил горло, рык, усиленный микрофоном, потряс атмосферу, сгустившуюся над «Дубовцами». – Отдать концы!

Боцман, единственный на палубе соблюдавший (или как?) ТБ, в каске с надписью белилами «Botsman», сбрасывает с причальных тумб швартовы.

– Всем, я сказал, всем, – снова заорал Негоро, – отдать концы!!!

На палубе возникло секундное замешательство, потом началась паника. Действительно муфлоны! Кто кидался отнимать у боцмана капроновые концы, кто выхватывал из-за пояса ракетницы (пираты да и только, подумал я, все вооружены, ты глянь), они приставляли – о, ужас – толстые стволы к головам и...

Бах! Бах! Ба-бах!.. Я устал считать сражённых. Откуда столько?! На сейнере ж всего-то... Бах! Ба-бах!.. И что за идиотизм вообще – нормальную команду «отдать концы» понять так буквально... Ба-бах!..

Просыпаюсь. Стираю со лба кошмар вместе с потом. И вдруг за иллюминатором – Б-бах! Ш-ш-ши-и!.. Подскакиваю на диванчике, боюсь посмотреть в иллюминатор, страшусь увидеть воочию продолжение кошмара, всё же выглядываю, и вижу...

Нет, никуда мы не плывём, увы. Палуба залита... о, нет, слава аллаху, не кровью... она залита «бледным, лимонным, лунным светом». И ещё другим, но тоже лимонным – от снижающейся оранжевой ракеты. У траловой лебёдки, прямо под окном капитанской каюты, стоит, расставив ноги «по-флотски», юный Трояк и перезаряжает ракетницу. В двух шагах от него, у борта, застыла, восторженно раскрыв рот, столь же юная дева. Салют, надо полагать, прощальный, ну да, мореход прощается с берегом, о, теперь уже зелёной, как змий, ракетой (он целится прямо в луну) продолжается. И я привыкаю к ба-бахам, взбиваю, точнее взлистываю «подушку» и засыпаю уже до утра.

Утро третьего дня, типично островное для весны (да и для лета тоже), с холодным ветром и моросью, располагало к...

– Погода так и шепчет, да, земля? – Третий механик обращался, оказывается, ко мне. – Так и шепчет, зараза: продай штаны и выпей.

Мы стояли на палубе, под рострами. Наверно, я взглянул на него морским волком, потому что он тут же перешёл на «вы»:

– Простите, а вы к нам – пассажиром?

– Да, в район лова, – буркнул я, косясь на одинокую женскую фигурку, цокающую каблучками по причалу. – А вы не знаете, где наш капитан?

Этот вопрос вырвался у меня не первый раз. Вчера я весь день озадачивал им каждого встречного. Ответы были уклончивые, как мачты в шторм: нету его... болеет., не знаю... Земля же оказался прямым, как гребной вал. И явно уважал себя за это.

– Конечно, знаю, – с достоинством объявил он. – На судне наш капитан. Просто мы его прячем от... – Земля заглотнул какое-то слово, едва не подавившись им, и закончил фразу на пониженных тонах, пробормотав под нос, – от всяких врагов...

Женщина круто свернула к нашему трапу, уверенно этак, прямо по-хозяйски вошла на борт, бросила «здравствуйте» и спросила в лоб:

– Где капитан?

Я обернулся и понял, что вопрос адресован именно мне, потому что Земеля исчез. Словно сдуло его или смыло волной цунами.

– Я здесь гость, пассажир, – я пожал плечами, – не знаю. А вы, извините, кто?

– Жена капитана! – Она ошпарила меня взглядом. – Будь он проклят! Неделю домой не является, пьяница проклятый! Все вы тут один другого стоите!

Брезгливо, предплечьем отстранив меня с дороги, она прошла в кают-компанию, тайфуном влетела в капитанову каюту, что-то поразметала по переборкам, в том числе досталось и моей сумке, будто и в ней мог бы запрятаться негодник-муж. Звуковое сопровождение шло крещендо, и в нём клокотало доминантой:

– Прячете! Я всё равно его найду! Я вас всех, алкаши проклятые, выведу на чистую воду! Я вам устрою отход!!!

Я почувствовал в ней союзницу. Мои планы и её совпали, как створки морского грёбешка. И если б удалось захлопнуть раковину так, чтобы её муж оказался внутри, отход, пожалуй, мог бы состояться сегодня...

Вот верно говорят, что история не терпит сослагательного наклонения: если бы да кабы. Всё, момент упущен! Тайфун пролетел. Капитанова жена метнулась по каютам и кубрикам, один из них, носовой, матросский, оказался «на лопате», она потребовала ключ, но хозяев кубрика на судне вроде бы было «нетути». Она взглянула на часики, пророкотала (так мне слышалось), что опаздывает на работу, и испарилась, процокотав по трапу и причалу.

Тишина на мягких крылах опустилась на «Дубовцы». После тайфуна так и бывает. В кают-компании лишь глухо позвякивали алюминиевые ложки, размешивая в кружках сахар.

В сотый раз, точно силясь дешифровать шумерскую клинопись, я вчитывался в бумажку на доске объявлений:

Внимание! Всему экипажу быть на борту в 14 часов.

Капитан Демгянченко

Боже мой, вот лишь когда до меня дошло главное: там даты ведь нет! Не-ту-ти даты, нетути. Может быть, они не три, а уже тридцать три дня «отходят». Без даты, без даты! И непременно, само собой, а как же иначе, ровно в 14 часов. Без даты...

Это я уже себя материл. И одновременно молился (нынче у нас такое возможно). Нервно перебирая в мыслях самые свежие из своих грехов, молился: Господи, за что ты меня наказал этими «Дубовцами», а? Вот влип так влип. По самые уши. Нет, надо бежать, бежать... Скорей, в контору, в УМРЗФ это задрипанное (моя-то контора – Контора, БТФ, База тралового флота!), другой пароход найти, любой, только не этот...

И тут я вспомнил, что сегодня суббота. И взвыл, как Негоро: о-у-у! Завтра, значит, воскресенье, а это значит в свою очередь, что два, а то и целых три дня (в понедельник суеверные капитаны не отходят) – коню под хвост. О-у-у!..

Я дочитал «подушку» до самой «наволочки» и знал теперь все прошлогодние новости острова. Центр норовил, как водится, превратить Сахалин в сырьевой придаток, высасывая из него нефть, красную икру, рыбу, а взамен – ни хрена, кроме районного коэффициента 1,6. Задиристая молодёжная газетка изредка вскрикивала: братцы-островитяне, давайте же бороться за своё место под солнцем!.. Я хмыкнул. Какое на наших дальневосточных островах солнце, где оно? Неделями, месяцами – туман, морось, дожди. Это ж только в песне так:

Ну, что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода...

Погода здесь, увы, Земеля прав, чаще всего как раз и «шепчет». И весь тот коэффициент с лихвой в тот шёпот и уходит. Я сам, как говорится, «не дурак» на сей счёт, однако сейчас, листая «подушку», невольно задерживал внимание на заметочках типа:

ПЬЯНСТВУ – БОЙ! НЕ ПРОХОДИ МИМО!

ВСЯ ЖИЗНЬ – МИМО! ПОД ХВОСТ ЗЕЛЁНОМУ ЗМИЮ!

В ЧУЖОМ ПИРУ...

И думал «со священным негодованием»: пьяный за рулём (штурвалом) – преступник! И вспоминал, как прошлым летом на Украине в небольшом провинциальном городке видел на стене два плаката рядом. На огромном красочном: «Партия – наш рулевой», а на маленьком, вывешенном ГАИ, как раз вот это: «Пьяный за рулём – преступник!»

Я совсем обжился на «Дубовцах», думая уже не о минтаевой, а о следующей за ней путине – лососёвой. Туда бы хоть успеть... Ко мне даже деньги занимать подходили, ну очень располагающе глядя в глаза и убедительно обещая отдать до отхода. Мне очень нравилось это «до отхода». То есть они проявляли заботу о том, чтобы я успел, как положено, «затариться», уходя в рейс. Такие миляги! Я б им давал, когда бы не был сам не прочь у кого-нибудь подзаянть – до прихода, до борта своей плавбазы. О, только до прихода, слово джентльмена...

Сайровых консервов, как я понял, собственного прошлогоднего производства, на «Дубовцах» хватало, благодаря чему супешник Негоро сотворял каждодневно. И я смирился. И в воскресенье после обеда, навернув полную миску, выбрался на палубу. Белёсое солнышко, разметав одеяла облаков, выпутывалось из пелёнок тумана. На крышке трюма сидел Антон, Трал, то есть тралмастер, в окружении троих матросов. Все четверо, заголившись, ловили лучи весеннего солнышка. Пропились они, как видно, в пух, ну и сейчас уже успокоились. Физиономии светили «фонарями» всех цветов и оттенков спектра – от нежно-розового (сошла корка) до густо-фиолетового (свежак).

– Иди, Семёныч, к нам пузо греть! – Пригласил меня Антон, которого звать вообще-то Виктор, а фамилия – Антонов. Он меня «вычислил» ещё вчера. Говорит, работал раньше в нашей БТФ, ну и сдавал, значит, рыбу на мою плавбазу, вот и запомнил, дескать, «личность».

Сбитый, среднего роста, в плечах округлый, обтекаемый, как морж, а особо «плечистый», как говорят на флоте, в животе – «кухтыль» имел уже в двадцать пять, десятков годов назад. Рыбак, видать, Божьей милостью. Такими мощными, толстенными руками, подумалось мне, он мог бы ворочать трал, даже мокрый, в одиночку. Лапы-кисти у Антона до того обветрены и натружены, что смахивают на старые рыбацкие перчатки, знаете, такие из толстой резины бордового цвета, притом налитые тугой, тяжёлой кровью.

Я подошёл, присел рядом, на брезентуху. Антон протянул руку куда-то за спину и достал гитару. И начался концерт. Я не уставал поражаться: как эти пальцы-сардельки виртуозно управляют со струнами и ладами! А сколько он знал песен, лирических, блатных – разных. Некоторые, «Бригантина», к примеру, так были обкатаны морем, рыбацким фольклором, что только мелодия в них оставалась.

Пьём за тех, кто краба на фуражке
Носит гордо и не для красоты,
Кто бросает деньги, как бумажки,
Сам стирает майки и трусы

На огонёк, на песни со всех щелей повыползали к трюму снулые бичи. И я наблюдал ряд чудесных превращений – светлели лица, яснили глаза. Трюмик на сейнере тоже ведь мини, как по Сеньке шапка, но вот на крышке его уселось уже семь или восемь. И вдруг вскакивают сразу двое, тесно было обсевших меня. И – наперебой:

– Садись, Макарыч... Макарыч, садись.

Тщедушный мужичонка в мятом пиджаке, таких же брюках, с лицом, одутловатым до воска, прямо как у Ленина в мавзолее, к тому же хромой, с трудом проковылял три шага и как-то боком, хотя места хватало, приткнулся рядом. Я вспомнил, как в первый день матрос в заляпанной краской робе просил у кока двойную порцию – «для Макарыча», и как Негоро отбрил его, но харчей все же выделил. Песни продолжались, пока Антон вконец не измохратил свои пальцы. Тогда пошли в ход рыбацкие байки.

– Эх, скорей бы в море! – Вздыхнул Трояк.

– Ага, – поддержал Земеля, – в море и обратно, получить «бабки» кучкой и – в гастронорм.

– Это ещё ничего, ничего ещё, – заворковал старпом, взглянув сначала на Трояка, потом на меня. – Мы вот на «Авангарде», помню, отходили, вот это да было. Сначала портнадзор не выпускал: нетути у вас надкоечных расписаний по тревогам. Повесили, значит, расписания, а он на следующий день «барашки» расхаживать заставил. А пароход-то, вы ж знаете, знаете «Авангард», старьё, песок рыжий сыпется, его ж через год на гвозди списали. Ну, ладно, ладно, «барашки» кое-как расходили, так он на третий день давай нам тревоги учебные играть. Тут вообще – туши свет: пластыри погнили, спасательная шлюпка прямо у борта чуть не затонула – как решето, аварийный дизель никак, ну никак не запускается, ему ж тоже сто лет в обед. Трое суток механики из него не вылазили, сделали. Надзиратель пришёл, послушал чих-пых, махнул рукой механцам – молодцы, мол, молодцы, я ему подсовываю отходные документы, он берёт уже ручку – «добро» на отход, значит, подписывать, а сам смотрит куда-то в сторону, смотрит так, смотрит. Да вдруг палец и тычет в спасательный круг на крыле мостика: «А ну киньте-ка его в воду». Кинули, а он – камнем на дно. Трояк громко хихикнул.

– А чего, чего тут удивляться, – это старпом Трояку, – его ж двадцать лет, сколь ты на свете живёшь, вот столько ж свинцовым суриком красили.

Свинцовым! Это, прикинь, прикинь, сколь же плюмбума на него накатали, а?..

Кто-то рассказал про длинный отход ещё историйку, в которой опять же были повинны никто иной как механцы, «маслопупы долбаные», у которых вечно чего-то в цилиндре или под цилиндром не хватает, ага...

– А вот мы раз отходили, – прямо на лету подхватил эстафету Земеля, – на «Гладышеве» дело было. Так у нас сначала Трояк загулял: пошёл за деньгами, за нашей зарплатой, ну и – с концами, на третий день только вы тащили из кабака. Ага, облегчённого уже, само собой. Ну, плюнули на деньги, с путины отдаст, погнало его отход брать. Власть притопали, а на борту радиста нет. Где он, такой-сякой?! А он с земелей с другого парохода (рядом стояли) рванул на родной хутор бабочек ловить. Послал кэп за ним старпома. Ага, козла в огород. Ну и ещё дня три простояли. И совсем уже уходить расхотелось. А тут как раз и погода испортилась. Ага, у «рогатых»² же вечно погода виновата во всём...

– Мой «Судак» в прошлом году отчаливал – то была коза, – это Негоро подошёл, управившись на камбузе. – Кэп набрал водки – для сдачи рыбы, на базах приёмщиков поливать, чтоб не надували. То ж как: сдал пятьсот центнеров, он тебе триста пятьдесят пишет...

Подо мной брезентуха задымилась. Уж я-то знаю про «любовь» добытчиков к обработчикам. Все, казалось мне, обернулись в мою сторону. Во всяком случае, косяка стали давить. Трала взгляд я на себе точно поймал.

– Ну, наши муфлоны выжрали всё, и одеколон тоже, – продолжал кок, – и – гуськом к кэпу. А он же не железный, он из того же мяса. Одного пожалел, другого, сам маленько на грудь принял. К вечеру – рога в землю. Короче, только через двое суток отчалили – когда дожрали те два ящика, «для сдачи рыбы» которые.

² Рогатые – так машинная команда (маслопупы) зовёт палубную: дескать, как рогатый скот, носятся во время шваторов.

– А я однажды пошёл, за полчаса оформил отход, и мы сразу отошли. – Это Трояк изложил в полной тишине.

– Да врёт, – беспрекословно обронил Негоро.

Трал снова взял гитару и будто отбивную из неё решил сделать, стал рубить стаккато:

Изгвозданный
несчастьями,
Матрос идёт
в кабак —
Как в церковь
за причастием,
Как в бурю
на маяк...
Молотит сердце
молотом,
И час тот неровён.
Швырнув на стойку
золото,
Скрепился он в проём...

– «Нахимовский патруль» называется, – бросил Трал во время проигрыша меж куплетов, явно для меня бросил. И продолжал:

Шагнул за комингс
в улицу,
А мысли – из орбит,
А улица
беснуется,
Позёмкой звенит...
Метель-зима на улице
Лютует и свистит.
И чудится матросу:
Штормует в море он,
Взлетают мачты косо,
И – рынды мёртвый звон.
И палуба – откосом,
И к небу рвётся стон.
Налёг матрос всей грудью,
На румбе держит руль...

Здесь Антон словно обрубил струны и забарабанил по гулкой деке. И – вновь грянули струны:

Над ним толпятся люди —
Нахимовский патруль!
Нахимов,
сам Нахимов
Склоняется над ним,
И голосом глухим он

Роняет:
– Извиним!
Он – к морю головою.
Снести-ка на корабль...
Вот так
моряк и воин
Свой утверждал Коран...

Разошлись с палубы, когда белое солнце уже заглотили сизые тучи на западе. Я зашёл в каюту и остолбенел. В каштановых шмотках шарился тот серенький хромой мужичонка.

– Мироныч! – Окликнул я, чтобы привести его в чувство.

– Макарыч, – поправил он меня очень как-то робко, стеснительно, —

Александр Макарыч. А вас, простите, как?.. Мне старпом говорил, что вы с нами – пасажиром...

– В-вы, значит, получается, это... к-капитан?

– Да, – скромно подтвердил он. – Что, непохож?

– Н-ну почему, – замямлил я, – всякое бывает...

Взяв свою сумку с дивана, на котором провёл три ночи, я засобирался. Макарыч попытался меня остановить: у него, дескать, есть, где спать, так что я могу, если хочу, даже – на койку... Койка капитана – Боже мой – алтарь, как можно! Правда, я уже видел в «алтаре» простыни серого, а наволочку темно-серого цвета, но сейчас, наверное, не это меня покорило. Я запросился в другую каюту.

Через пять минут я уже «прописывался» в каюте Трала. Ради «прописки» Антон соорудил где-то флакушку одеколона «Саша» – для мужчин. После моего отказа разделить с ним эту радость он выпил «Сашу» не морщась и очень серьёзно и трезво стал рассказывать о себе. Когда он мимоходом похвалил за что-то Макарыча, я не выдержал:

– А по-моему, Виктор, с таким капитаном мы не отойдём отсюда никогда!

– Эх, Семёныч! – Выдохнул он.

И до чего ж богаты бывают одни лишь модуляции голоса человеческого – просто поразительно. Не суди да не судим будешь... На Руси ж как, пьян да умён – два угодья в нём... Внешность обманчива, как врут и все личины, маски... Вот сколько сумел вложить Антон в один вздох.

Он взял гитару с койки и начал наигрывать без слов мелодию романса, но тут же оборвал себя, отложил гитару. И, взгромоздив мощные руки на стол и уставясь в пространство, поведал о том, как зимой семьдесят первого в Бристольском заливе, что под Аляской (традиционный район промысла в 60—70-х годах), тонул. Он и тогда был тралмастером. Макнули трал, судно пошло на циркуляцию, Виктор встал, как обычно, на планширь и начал отдавать стопор траловой доски. А планширь-то, захлёстываемый волнами, обледенел. Виктор оскользнулся и – за борт. Тут нужно было немедленно рубить ваера, буксирные тросы трала, и возвращаться за человеком. А капитан продолжал циркуляцию. Тогда Виктор сбросил тянувшие книзу сапоги и на спине поплыл, глядя вслед уходящему родному пароходу. «Вот хрен вам, всё одно не помру!» – думал в сердцах, нахлебавшись ледяной солёной купели. Траулер, идущий следом, подобрал его, кинув выброску. Он поймал «грушу»³ и вцепился в неё мёртвой хваткой. И потерял сознание.

Очнулся на плавбазе, в тёплой ванне, и с недоумением увидел в руках своих эту «грушу» с обрезанным концом. Из подмышек термометры торчали. Они показывали 32°. Айболит плавбазовский удивлялся: с такой температурой – и выжил! Стало колотить. Дали стакан спирту.

³ «Груша» – деревяшка в форме груши в верёвочной оплётке, утяжеляющая выброску.

Заснул и проснулся совсем здоровым, вот так-то. Двадцать одну минуту плавал у кромки льдов...

– Сейчас, когда вижу, как отдают стопор с планширя, – Виктор глаза зажимает, – ору: слазь, твою мать! Слазь! Не могу смотреть.

Да, вот так бывает. А капитаном, как бы между прочим сообщил Антон, на том, втором траулере был Макарыч...

И наступил день пятый, тяжёлый, ибо – понедельник. Ровно в семь на «Дубовцах» был сыгран подъём. Сыграла его жена капитана. На этот раз она застала Макарыча в его родной каюте и выдала от всей души, полнонаборно:

– Ах ты гад такой, лежишь? Залил бесстыжие зенки и бока пролёживаешь? Да на кой чёрт и кому такой муж нужен! На кой нужен такой капитан! Алкаш проклятуший! Сейчас, сейчас я тебе устрою. Брошу к свиньям свою работу, пойду в твою контору и скажу, чтобы гнали тебя из капитанов поганой метлой!..

Ну и дальше теми же и другими нехорошими словами она поливала мужа примерно с четверть часа. Он пытался увещевать её, оправдывался болезнью: вот, видишь, мол, ходить не могу, потому и лежу. Пробовал закрывать дверь. Она её тут же распахивала и продолжала лаяться, распаляясь пуще прежнего. В конце концов всё же ушла, гневно процокав каблуками по трапу.

Испив чаю, Макарыч с трудом доковылял до каюты и закрылся.

– Что у него с ногами? – Любопытствовал я у длинного матроса в засуриченной робе, в чьём кубрике, как я понял, прятался от жены капитан.

– Да пожёг о батарею, – жалостливо объяснил матрос. – Уснул на диване, а ноги – на батарею, вот пятки и подгорели.

И таким он это добрым тоном сказал, словно вымолвил о любимом командире философское: ничто человеческое ему не чуждо.

Однако пятые сутки на борту «Дубовцов» сделали меня раздражительным. Судовые дизеля молчали, электропитание подавалось с берега, пароход казался мёртвым, нежилым. Я припомнил, как молился богам, пролетая над морем, чтоб они задержали отходящий пароход, и понял, что трагически переборщил в молитве. И вот меня стала раздражать тишина, шорох воды за обшивкой и мышинное шуршание за переборкой, в соседнем кубрике, запахи сайрового супа и прокисшего риса с камбуза, опухшие рожи, в молчанье поглощавшие тот суп, сикось-накось причавкивая челюстями, изукрашенными фонарной продукцией всех цветов побежалости. На плавбазе во время ремонта можно увидеть рожи не лучше. Но перед выходом в рейс я от таких обычно избавлялся. И сейчас прикинул мысленно, кого бы мог изо всей этой гвардии взять в свою команду. Только одного Антона! И только за его великую преданность человеку, с которым море связало его смертными узами. Ну и, само собой, мне, как работодателю, как работоторговцу, если хотите, импонировали его физические данные: могучие руки, звериная выносливость. Ну а все остальные бичи...

Я обрадовался, когда прямо в обед на борт пожаловала комиссия из конторы: чин из парткома и два представителя других служб.

Как посторонний, я убрался с импровизированного собрания на палубу. Но дверь кают-компаний они не закрыли, и самый большой гудёж, возникший, когда был поднят вопрос о замене капитана, до меня долетел.

– Списывайте тогда и меня! – Я узнал голос Антона.

– С другим капитаном я тоже, да, я тоже не пойду, – это старпом-тихоня заявил.

– Стоп-стоп-стоп! – Чин перекрыл гудёж. – Где мы вам сразу найдём нового капитана, нового старпома да ещё и нового тралмастера?

– И я не пойду! – Земеля, кажется, выкрикнул.

– Можете и меня списывать!

– И меня!

– Другой капитан нам не нужен!..

Господи, неужели? Сдаётся, это был суровый баритон Негоро. Во дела! А куда же тогда отнести его давнюю элоквенцию насчёт Макарыча – Лаврентий Палыча?..

Комиссия ретировалась. Где-то на соседних судах изыскали спермацет и смазали капитану пятки. На борту «Дубовцов» целый день никто не пил и не пел. На палубе стучали молотки, из машины тоже неслись стуки-грюки, траловая бригада на кормовой площадке, орудуя иглицами, ремонтировала сетное полотно. Маясь от безделья, я перебрал вещи в сумке и обнаружил закаченный червонец. Как белый человек, сходил в город по морскому варианту культурной программы и вечером выставил на стол бутылку коньяку.

– Ты, Семёныч, на нас сейчас не смотри, – сказал Антон, когда мы допивали коньяк. – Приходи к нам летом, когда мы будем на сайре. Вот там мы пашем! Там даже кок выходит на палубу помогать, даже Земеля. Это после ночной вахты в машине!.. Макарыч умеет такие отыскивать поля, такие уловы брать, какие другому капитану не снилось!

– Ты знаешь, Витя, – расчувствовавшись, я приобнял Антона за круглые плечи, твёрдые, что кнехты, – сначала я хотел взять в свою команду только тебя. Ага, тебя одного хотел бы взять. А потом посмотрел, нет, послушал, как вы там, на собрании, нет, молодцы... Ага, молодцы ребята! За меня бы так на базе моей не заступились, не-е-т... Короче, я бы вас всех, да, всех бы вас – к себе... Ты меня прости, Витя, за эту, за мою элоквенцию.

– Ча-аво? – Скорчил смешную рожу Антон.

– Ну, за болтовню, значит, ага.

На базе-то давно привыкли к моей страстишке шибко умными словами изредка баловаться, ну а тут-то ещё нет. Пока...

Наутро «Дубовцы», робко гуднув, словно боясь разбудить кого не надо, отошли от причала. Сквозь морось и серость рассветную маячили на нём две женские фигурки – подружки Трояка и... кого б вы думали? Да, верно, это была именно она, гроза-тайфун, жена Макарыча, нашего капитана. Такой вот индетерминизм...

Чтоб не мешать заступающим на вахту, я пришёл чаёвничать попозже. Негоро опять ворчал, что нету кружек, одна всего осталась. Я вспомнил, что у нас, у Трала в каюте, есть кружка. Коньяк мы пили из складных пластмассовых рюмашек, купленных мной на Курилах, а кружка стояла у него на полке. Сбежал в каюту, принёс и торжественно, как корону Российской империи, двумя руками вручил коку. Негоро взял кружку, поднёс к лицу, и вдруг рука его сделала странную такую отмашку в сторону, точно выплёскивая что-то из кружки за борт. Но я же знал абсолютно точно, что кружка пуста и суха, я ведь нёс её только что... А!.. Кружка летела в море! Я чуть не прыгнул за ней. Она нечаянно, конечно, вырвалась из руки Негоро... Но тогда почему он не прыгает? Он даже не дёрнулся...

– Что? Что такое? 3-зачем?!

– Бесполезно, – успокоил меня кок.

Бесполезно прыгать за ней? Ну да, на ходу же...

– Что бесполезно?

– После одеколона бесполезно...

И булькнула кружка в Татарский пролив, и пошла на дно, и теперь сам Нептун пьёт из неё за тех, кто в море, а значит, и за славный экипаж сейнера «Дубовцы», за этих, чёрт их подери, бодигардов-трубадуrows, прощаться с которыми мне, честное слово, было до слёз жаль.

Бэсамэ мучо

Давно это было, в начале шестидесятых. Я тогда ещё самым маленьким, четвёртым механиком работал на древнем пароходе «Поволжье». Вторую неделю стояли мы под разгрузкой-погрузкой в солнечной Италии. Валюта у всех кончилась, и недоступная красавица Генуя теперь только раздражала. Опереточный домик Колумба, мраморное кладбище Кампо-Санто – ну, короче, все посильные достопримечательности были уже осмотрены и ошупаны, как водится, по-русски. Из классического ассортимента *кино, вино и домино* нам оставалось последнее. Первый помощник капитана, страж матросской нравственности, разнообразил наш досуг политинформациями и беседами о бдительности. Он крепко смахивал на героя тогдашней детективной серии анекдотов майора Пронина. «Из глубины унитаза на шпиона глядели проницательные и как всегда чуточку грустные глаза майора Пронина...» Мы так его и прозвали в благодарность за те беседы о провокаторах, которые кишмя кишат вокруг нас. До флота Пронин трудился по торговой части – рефмехаником Росмясорыбторга, и мы изощрялись в остроумии: все шпионы, дескать, до поры зрели в холодильниках.

Домино... Говорят, после перетягивания каната это вторая по интеллектуальности игра. Поначалу я её терпеть не мог. Заслышу на спардеке монотонный стук костяшек (а над ним то и дело взвизгивает: «Козлы-ы!» – играли сразу три-четыре компании), да так и вижу бегущее по паркету стадо коз и взбрыкивающих в восторге черных козлят с серьёзными мордами. Я забивался с книжкой в какой-нибудь дальний угол палубы (в каютах донимала жара) и затыкал пальцами уши: меня преследовал цокот стада по паркету... Потом играл и даже увлекался...

Ну и вот, валяюсь я как-то на корме, в тени лебёдки, чумной от жары, скучищи и детективного чтива – другого у нас не было: судовую библиотеку самолично подбирал Пронин. Лежу, зеваю, на вахту мне не скоро. Над бухтой сонные чайки парят. На причалах, тоже полусонные, бесшумно вращаются чудные итальянские краны, коренастые, смахивающие на осадные башни. Недалеко от нас огромным альбатросом красиво сидит на воде «Леонардо да Винчи», трансатлантический лайнер, который бежит по линии Генуя – Нью-Йорк. Туристы в шортах, в сомбреро и с кинокамерами прохаживаются на променаде-деке, прощаются с Генуей, поглядывают на наш пароход.

Ну, как Атлантика? Штормило на пути сюда?... Сколько, восемь баллов? Ну, для «Леонардо» мелочи... Жара в Италии? Да, май. А в Штатах, как и в России, наверное, ни холодно, ни жарко?... Да, чаще встречаться было бы неплохо... Яхта своя у вас? Прекрасно, приходите в гости... Что, война? Упаси Боже! Ах, Красная площадь, парад милитэр?... Ну, это мы крепим оборонную мощь. Вы тоже?... Да-да, как в сказке про щенка и котёнка, кто кого испугался. Точно... У вас, говорите, двое, мальчик и девочка? Понял. Нет, я холост... Сто долларов в неделю? Неплохо. Я сколько зарабатываю?... О, уже убирают трап! Бегу. О'кэй! Счастливого плавания! Хэппи сэйлинг! Мир! Дружба!..

Увы, вместо такой, к примеру, милой беседы, хочешь – не хочешь, иди слушай очередную лекцию Пронина о бдительности.

«Кабо сан Висенте» – так назывался теплоход, пришвартовавшийся рядом с нашим «Поволжьем», корма к корме. Я рассматривал сникший в безветрии испанский канареечный флаг с замысловатым гербом, вспоминал светловскую «Гренаду». И вдруг услышал с пирса азартные крики и удары по мячу. Поднялся на спардек и увидел смуглых парней в одних трусах. Они в бешеном темпе неслись с мячом между штабелями грузов, перехватывали друг у друга, вели мяч головой, грудью, ногами, как олимпийцы на первой весенней тренировке. По трапу «испанца» сбегало ещё несколько человек в спортивных трусах.

Наши «козлятники» как один стояли у борта, и в их глазах начинали вспыхивать живые огоньки, впервые за неделю. Кочегары, матросы и даже боцман со старпомом чесали нестри-

женные с России затылки и глядели на испанцев, наверное, как эки на женщин. Впрочем, я – тоже.

Через пять минут наши брюки и рубашки уже валялись на траве, пробившейся сквозь пыль и гравий. У самого торца пирса, где кончаются подъездные пути, всегда обычно есть свободное место и там растёт хилая трава, зажатая с трёх сторон солёными шквалами, а с четвертой – пылью и грохотом. Там вот и довелось мне стать участником матча, в те поры единственного, может быть, в своём роде в истории футбола.

Жара под тридцать. С нас – ручьями, а испанцам хоть бы хны. Если б не Горилла на воротах, продули б, наверное, с баскетбольным счётом. Был у нас здоровенный кочегарище – ростом среднего, но и в плечах почти такой же ширины. Чёрный угрюмый парень годов двадцати семи. Звали его Гаврилу, Гаврюха, но за глаза именовали Гориллой. Обычно медлительный, как лев в клетке, он преображался в деле непостижимо. Я видел его в кочегарке, на вахте. Вот если вообразить себе дьявола в аду, когда у него квартальный план по смоле «горит», вот только так, пожалуй, можно себе Гаврюху представить.

Короче, он за матч верную дюжину голов отвел. Испанцы его потом схватили – народ темпераментный – и ну качать. А Гаврюха наш зарделся девкой, стоит и лепечет... Впрочем, по порядку.

Соорудили мы, значит, ворота – по два тюка каучука из штабеля уволокли и, по жадности великой, рванулись в бой, даже не взглянув на часы. Когда забили друг дружке по голу, тогда только остановились, выбрали судью и засекли время. Всё чин-чинарём пошло. Испанцы с ходу – в бешеную атаку, мы – в глухую защиту, четыре-два-четыре, как учили. Пробили они раза два, но Гаврюха спас ворота. Тогда они резко изменили тактику, – пустили нас на свою половину. И мы беспрепятственно прошли, как бывает вот – брусок масла перед тобой, ты думаешь, он твёрдый, раз его ножом, а нож провалился. В общем-то, понятно, испанцы нас куснули – не по зубам, давай, значит, вы теперь кусайте. Ну, мы – лавиной попёрли (застоялись, как кони), и вот уже ворота Испании. Собранность была – на пределе. Они перекрикиваются, а ты, хоть и с мячом, напряжённейший момент, но все видишь, слышишь и даже вроде понимаешь их «аллегро-мучо-доминанто». Спиной, кожей, каждой жилкой чувствуешь противника.

И наши все так играли. Я видел – глаза сверкают, рты перекошены, хекают, орут на бегу, хрипят в свалке. Иных прям не узнаешь!..

Первый гол забили мы. С моей подачи. Я с правого угла бил, а Рея, матрос один, длинный (за что Реей и прозвали), головой точно в «девятку» всадил. Вратарь-испанец тигром взметнулся, но поздно: только промаячил на фоне улетающего мяча. Взревел, бухнул себя кулаками в грудь, завертелся на месте, будто собственный хвост ловил. Артист. Мы загляделись на него, а он резко так хватить мяч (мы думали, он его грызть начнёт или целиком проглотит) да как зафинтилил – чуть не к самым нашим воротам. А там никого – два испанца и Гаврюха. Они шарахнули с лету, он отбил. Тогда они подвели к самым воротам, он бросился под ноги, но тут уж просто – короткая перепасовка и – гол. Мы и добежать не успели. Один – один.

Вот когда мы жару почувствовали! И поняли: она – их союзник, наш враг. Мы прилично уже захекались и смахивали на загнанное племя краснокожих, вернее краснорожих. Рея ещё и в красной майке был, так это вообще умора, я вам скажу. Горилла заковылял к штабелям каучука за мячом. Смешно он бегал, по-медвежьи, но никто не смеялся, все активно дышали и присматривались каждый к своему опекуну-испанцу. «Оттянитесь, вашу мать!» – рявкнул Гаврюха, подгребая в ворота с мячом. И мы, точно, увидели, что сбились стадом на своей половине. И знаете, это наше «Ребята, не Москва ль за нами!» взыграло. И ещё – чувство вины перед своим вратарём.

Ну, опять собрались, сжались пружинами и – вперёд, в сторону моря. Наши-то ворота в глубине пирса были, их – у торца, у маячка. «Тигру мяч не давать!» – крикнул кто-то из наших. Но попробуй ему не дай. Метров с десяти, в упор, считай, долбанули, а он, как кот

мыша, сгреб мячик одной лапой и опять рычит по-тигриному. Ну, тут уж мы разевать не стали, мигом оттянулись, каждый своего прикрыл, защитнички – Гаврюху. Тигр «свечу» врезал, да у нас защита теперь с головой была: взял на кумпол один, и мяч в центре очутился. Испанцы пошустрей нас оказались, рывок прямо спринтерский сделали. Мы оглянуться не успели – уже лупят по воротам. Но в спешке били, на-ура, и Гаврюха подмял шарик под себя. С медвежьей грацией, но все равно ловко это у него выходило. Медведи, знаете, какие вообще ловкачи! Тёпами это они прикидываются, а сунь им палец в рот...

Закончился первый тайм. Счёт два-два. Команда «Поволжья», получив новые ворота, веером упала в куцую тень маячного фундамента и дышала, как один мощный кузнечный мех. Команда «Кабо сан Висенте», напротив, резвилась с мячом, и Рея, приподнявшись на локте, заметил:

– Ребята, да они, похоже, греются! Замёрзли, с нами прохладяясь.

Добрую половину тайм-аута проплясали испанцы, пока мы дышалки свои налаживали. Тигр подошёл к нам и, улыбаясь во все тридцать два, похлопал по квадратному плечу Гаврюху. «Ты тожеть молодчага», приветливо прорычал наш Горилла и в долгу не остался – завёз эдак дружески своей «граблей» Тигру по спине и усадил рядом – мол, погутаим про жизнь нашу моряцкую. Тут и остальные испанцы подгребли. Наладилось, как водится, толковище на пальцах да на обычном морском эсперанто – два слова английских, потом три нижегородских, ну и для связки что-нибудь из музыки или медицины вроде форте-модерато-спирито-микстуро. Да много ли надо, чтоб узнать, куда и откуда держит путь моряк, как долго в море болтается да сколько у него дома «короедов». Кто-то из наших спросил: а на Кубу, мол, к «родственникам», так сказать, не заходите? А ведь это Франко у них ещё правил, ну я и подумал: вот ляпнули мочалкой по больному. Но нет, ничего, они даже развеселились: О, но, но! Куба – территорий либре, Эспанол – территорию но либре». То есть – Куба свободна, Испания нет, ну и значит, Франко не пускает на Кубу. Тигр смеётся: «Фидель Кастро Рус!» И повторяет с напором: «Рус! Кубано комунисто – русо комунисто. О-о-о!» И ржёт по-цыгански.

Судья-испанец нам кричит: время вышло, игру, мол, пора начинать. А Тигр ему: Санчо-Панчо, погоди, дай договорить, интересно! Но тут один за другим наши стали подниматься, разминать ноги. И пошло опять дело.

Жара, я вам скажу, была... Помню, во втором тайме мне все время казалось, что она растёт, как на градуснике, опущенном в закипающий чайник. Счёт изменился на первой же минуте, и не в нашу пользу. После перекура мы еле ноги переставляли. Как будто кто надел нам водолазные ботинки со свинцом. Но первая «штука» нас разбудила. Взяли мяч, молодецки, чуть не с гиканьем, повели, довели к воротам, обманули Тигра (точь-в-точь, как они Гаврюху в первом тайме), и – порядок, сравняли счёт...

Что удивительно, испанцы радовались, похоже, одинаково – своим и нашим успехам. Гол – ура! Главное, что гол, что шарик летает, а куда влетает, это уже не так важно. Нет, мы не умеем так игре отдаваться. Для нас всё серьёзно – футбол, война, любовь, водка. А для них, наоборот, все – игра. Счастливая натура...

Ну, что ж, у них – субтропики, вечный Ташкент. А у нас три месяца пляж, потом осень. Она-то и научила нас думать о зиме, о будущем. А они и на войну поначалу идут, как на праздник. Для нас же одно это слово означает горе. Дети, игра... Взрослеть все равно придётся...

Когда счёт стал четыре-четыре, мыло из нас можно было добывать уже без всякого труда – оно само с нас капало. Мяч улетел в далёкий аут, и Рея наш последним стащил с себя майку. Она была уже не красной, а чёрной, вроде он продраил ей всю палубу «Поволжья», макнул в ведро и забыл отжать. Рея в гневе отшвырнул её, она, как швабра, шлёпнулась об землю, а испанцы начали кататься от смеха, тыча пальцами то в Рею, то на его майку. Один усатый, с залысинами в полбашки, до слез ржал. Наш радист показал ему на его плешь, где тоже свер-

кала изрядная роса: гляди, мол, кореш, ты также из мыла сделан. Усатый росу смахнул и – сухой, плечи только чуть поблёскивают. А мы заливаемся.

Ага, посмеялись мы, значит, друг над дружкой и – опять в бой. Испанцы, видно, почуяли наконец в солнышке своего союзника и устроили нам гонки. Вот где экзамен был по ГТО! Раз три-четыре прогнали нас к своим воротам и, не отдавая мяча Тигру, на пасовках – к нашим. Трижды били, Гаврюха отбился, а на четвёртый все-таки вкатили «штуку». Гаврюха мячик принёс, но не бьёт, ждёт, когда мы оттянемся, и спрашивает у судьи, сколько мол, осталось. Тот растопырил обе пятерни, показывает – десять. «Восемь минут до конца, братишки, – переводит нам Гаврюха, – наддайте!» Да как фуганёт. Чуть не Тигру в лапы. Я рванул, но чувствую – не успею. Ёкаю, как конь, селезёнкой, во рту уже не кисло даже, а сладко. Вроде как собственную кровь сосёшь. В глотке свистит. Мой обошёл меня и взял мяч. Повёл от ворот. Всё, думаю, если сейчас не отберём – шабаш, продули. Как во сне, без ног лечу над землёй, догоняю и – бух под него. Он через меня перескочил, а я глядь – мячик-то в ногах моих бесчувственных застрял. И откуда силы взялись! Вскочил я и сразу Рею увидел: недалеко, по прямой и – один. Столкнул я ему мяч, а сам чуть не рухнул тут же. И вот плетусь, качаясь, и вижу – бьют наши по воротам. Свалка. Мяч откатился, и к нему двое крайних летят, испанец и наш. Мне далеко да и не бегун уж я. Скорее ветряная мельница: крыльями машу, а ни с места. Вознёс молитву нашему русскому Богу. И услышал Он, видать, меня даже из Генуи. Оба крайних вроде одновременно ударили. Мячик петлями, петлями – и в ворота. Медленно, неверно, но вкатился. Пять-пять!

Сил на «ура» у нас уже не было. Да и матч ещё не кончился, пытка-то наша добровольная.

За пять минут, что оставались, раза два они ещё били по нашему вратарю. Но Гаврила не посрамил уж Россию-мать. И когда судья засвистал, что Соловей-разбойник с дуба, Тигр, первым примчался: «Компаньеро! Амиго! Вива! Вива Габриэль!» И давай они качать нашего Гаврюху.

Потом знакомиться начали. Анхел стал Женей, Хуан Ваней, Санчо, конечно, Санькой. И пошло-поехало. Идём по пирсу, обнявшись, болтаем. Да бойко так, будто всю жизнь только тем и занимались, что вырабатывали всемирный язык дружбы.

У нашего трапа остановились. И тут кто-то из наших же запел «Бэсамэ мучо». Испанцы заулыбались, подхватили песню и как-то незаметно, сплетя руки друг у друга на плечах, образовали тесный круг, сомкнулись с нами и стали раскачиваться в такт песне. Они, правда, поют ее немного не так, как мы, – медленнее, суровее, как балладу. И вот что я понял: полная гармония, чтоб никакого разнобоя, идеальная слаженность в песне возможны только так – руки на плечи...

Мы пригласили парней с «Кабо сан Висенте» вечером в гости, кино посмотреть. Ну, те конечно пришли да принесли с собой аккуратенький бурдючок белого сухого вина. Литров на пять кожаный бурдюк с бамбуковой трубочкой-мундштуком. И пустили его по большому кругу. В знак дружбы, значит.

Фильмы на «Поволжье» крутили прямо на открытом воздухе, на спардеке: летний кино-театр, так сказать. Пока смотрели киножурнал – о стройках пятилетки, о новостях науки и культуры, – все шло прекрасно: испанцы восторгались размахом строек наших ГЭС и заводов (гигантов, конечно), ребята объясняли им смысл событий на экране. Но вот закончился журнал, врубили свет, появился на спардеке помполит. У меня чуть не выпал из рук бурдючок. Я его по-быстрому сбаврил соседу-испанцу, а Пронин, гляжу, прямо ко мне пробирается меж рядов. «Что это у них?» – спрашивает на ухо. Бурдюк, говорю, сухое вино, тропическое. Нам-то ведь тоже вино давали, когда тропик пересекаешь. Попробуйте, говорю, винцо в порядке. Он в затылке почесал, в небо этак сосредоточенно поглядел и снова склонился ко мне: «Больше не пейте. Я сейчас возьму его на анализ». Я обалдел, а он пошёл по рядам и каждому из наших шепчет: «Не пейте... не пейте... на анализ». Мать его баба!.. Ну, тут кино, слава Богу, началось,

свет вырубили, не видно стало, как наши уши в розы превратились. А он снова тут как тут, стакан припёр, да здоровенный такой, чуть не пол-литровый. Взял бурдючок, нацедил полный стакан и отвалил в каюту. «Кто это?» – испанцы спрашивают. Что им ответить? Повар, говорю, кок наш, жрачку нам, показываю на рот, готовит. Толпа, слышу, ржёт потихоньку, а Гаврюха матерится: «Ну и дуб, туды его – растуды, ну и позоруха!» Не обращайтесь, говорю, внимания, кок у нас пьяница-одиночка, алкаш, мы уже привыкли...

Ну вот, все бы оно ничего, но Пронин наутро закатил собрание и давай «зачинщиков» искать – кто, дескать, игру с испанцами затеял, кто франкистов на судно привёл?.. Гаврила возьми тут и брякни на всю кают-компанию: «Да вы и правда – майор Пронин, сто процентов!» Помпа поначалу челюсть отвесил, а потом как возопит: «Вы слышали, товарищ капитан? Вы слышали?!» И преданно, как болонка, капитану в лицо заглядывает. А тот отвернулся и ворчит: «Да слышал, слышал. Гнать надо таких с флота». И в зал смотрит, а мы по глазам его видим, что он это – о Пронине, не о Гаврюхе. Без кочегара пароход и с места не сойдёт. Собрание, короче, закрыли, и шабаш. Ну а по приходу домой Гаврюха все равно списывался с «Поволжья». Так что опять, считай, пять-пять в нашу пользу.

Вот такое, скажу я вам, было у нас Бэсамэ мучо лет эдак тридцать с лишком назад...

1965

Мои года – моё богатство, или Спасибо Шаламову

Мясо дружит с картошкой, картошка – с мясом. Похлебай с мое – тридцать лет – флотские борщи, и ты тоже уверуешь в эту истину так, что никакой ученый тебя не своротит: мол, крахмал с белком – это плохо, нездорово, неграмотно и прочее.

На берегу я открыл эту истину заново. В родном Владивостоке зашел в овощной магазин, а там из подсобки мясом пахнет, вареным и жареным, – вкусно, во рту и в носу лепота.

– Люд, – кричат оттуда женским басом, – иди, готово!

– Щас! – Без румян румяная, гладкая Люда, которой не мешало бы и пост соблюсти (крестик-то на дорической шее вон торчит, цепочки едва хватило), смотрит сквозь меня: уматывай, мол, чё глазеть на гнилушки, все равно же не возьмешь.

Она права: такой картошки надо брать из расчета один к десяти, то есть из десяти кэга начистится один. Мне нужно пять, что в переводе на ишачий означает пятьдесят. Но я не Ходжа Насреддин, ишака у меня нет.

Тридцать лет оттрубив в морях механиком, не иметь даже ишака, не говоря уже о «тойоте»? Это дураком надо быть, скажете вы. И я соглашусь. Только чуть подправлю: моряком, сдуру, без памяти влюбленным в свою семью. Да, есть и «тойота» – у сына, и сберкнижка – у жены. А у меня зато есть твердый пенсион. В полста пять не каждый и это имеет.

...У моряка всегда в запасе развод к пенсии. Имейте это ввиду, братья водоплавающие. Тут всё закономерно. Вы же не притерлись, жили-то врозь, вот и упали друг другу в объятия под старость. А двадцати-тридцатилетние привычки запросто не сломаешь. У жены – свои, береговые, у тебя – свои, флотские. К тому же оба с характером. Притом у обоих в характеристиках: «Характеризуется положительно». А плюс с плюсом, известно же, резко отталкиваются. Вот и мы...

Короче, размен, разъезд, гостинка. Успокоился, книгочеем стал. Потом – знакомство в библиотеке, родство душ, свадьба, съезд. Депутатские съезды как раз в большую моду входили, раньше ночами одни футбольельщики телик смотрели, а тут всех дальневосточников покорили ночные (для москвичей-то они вечерние) телесъезды. А у нас с Надей вообще кайф – два телевизора съехались. Я, к примеру, московский съезд по первой смотрю, она – краевую сессию по второй. Лад в доме, тишина политучёбная, прямо как в кают-компании. Лепота.

На пятнадцать годов моложе взял, сорокалеточку. С ребенком, само собой. И все бы славно. Надя в своей библиотеке зарплату получает, у меня пенсион такой же («за чертой», как говорится), но вот опять привычки подводят. Нет у моряка привычки копейку жать. В море, на казенных харчах, капает она в карман беззвучно, как масло в подшипник, а на берегу, в отпуске, моряк спешит наверстать, тут уж он – реваншист и транжира. Не надо и красных дней в календаре, каждый день отпуска – сам по себе праздник. Нет, не обязательно с водкой, но музыка, цветы и фрукты – даже зимой – это, как говорится, закон.

Развод, разъезд, съезд и свадьба в четыре жернова перемололи все заначки. Пошел продаваться в портофлот, на буксирчик там, на плавкранчик, где сутки через трое вахтят, а мне: погоди, мол, дядя, сильно не спеши, места-то все забиты. Это только с моря так кажется, что в портах тьма «жучков» да баржишек всяких самоходных копошится. Сколько бы ни копошилось, а вашего брата, выброшенного на берег волной после тридцати ли морских годов, после первого ли рейса (это когда молодая жена: «Или я – или море»), все одно больше. А сколь годить-то, спрашиваю. Да пока кто-нибудь не загнется, отвечают. Ну ясно.

Надин Тошка, славный такой парень тринадцати годков, пришелся мне как раз вместо сына. Ведь сын без меня вырос, я только помогал ему при пересадках: из люльки за парту, оттуда – на студенческую скамью, затем – в кабину «тойоты». Как там Чехов сказал? Каждый

человек должен построить дом, вырастить дерево и посадить сына. Или наоборот? Ну, в общем, довести до ума.

Так вот сермяга в том, что коли моряк чего упустил по причине дальних заплывов, то суждено ему все равно наверстать. А Тошка полюбился мне. Смешной такой, конопатый, задумчивый. За столом особенно. Бывало, задумается, полкило колбасы умнет и не заметит. Растет.

Ох, насчет колбасы придется подробнее. В море мы как-то, честно говоря, приборзели малость. От столовой колбасы за завтраком нос воротим, подай нам копченую-полукопченую, сервелат-салами. Да на берегу, проснитесь, братцы, и слов-то таких у народа давно уже нет. Пользуясь случаем и предоставленным мне словом, как говорят невесты и жены, поздравляя мужей —моряков в радиопередаче «Тихий океан», хочу обратиться прямо: товарищи журналисты-международники, уважаемые писатели и все прочие бывшие диссиденты, пожалуйста, Бога ради, перестаньте дразнить соотечественников ваших байками про триста сортов колбасы в магазинах ФРГ или где там еще, в каких австралиях да палестинах, куда вас стали пускать без намордников. Поймите же, что черной зависти у нас и так хватает. Мне-то еще ничего, я и сам повидал не меньше, у меня иммунитет, но окружающих жалко.

Да, я сам в свое время попизжонил в фирме, поражая прямо в сердце наивных соотечественниц и понуждая фарцовщиков делать стойку. Но вот приземлился, маленько разглядел изнутри земную нашу расейскую жизнь и кое-что понял.

До слез, до нищеты, до голодной смерти, наконец, довести народ, живущий на тучных полях и пастбищах, покрывающих богатейшие в мире недра, это, конечно, надо суметь, за это, как говорится, спасибо партии родной. Но ведь и мы с вами, братья водоплавающие, тоже хороши! Зачем мы так бездумно дразним родную нищету всякой чужеродной роскошью? Вон они, бедняги, бьются на своем заводе, колотятся посменно, побригадно, а что получают за то? Да нашему работяге чудом природы кажется спецовка японская, не говоря уже о «тойоте». Твоя работа, надо признаться, легче его (оставим тайфуны, цунами и прочие там страсти-мордасти маринистам), а лимузин и тряпки, удобные да красивые, урвал ты, если взглянуть с его точки зрения, дуриком, *на шару*.

Зависть черную – вот что породил ты в душах, обставив в том намного даже журналистов. Смотри сам. Твои дети в школу пошли в сингапурских куртках и штанах, выдувая из рта мерзкие пузыри японской жвачки. И какому же Макаренко, какому Ушинскому под силу объяснить их одноклассникам, что не в этом счастье, что лучше выделяться культурой, начитанностью, щеголять мастерством. Он будет потом, возможно, и начитанным, и мастеровитым, но – потом. А сейчас ему смерть как хочется пожевать такой жвачки, пощеголять в такой же куртке. В результате из-за жвачки – драчки, а куртку к концу дня благополучно из школьной раздевалки свистнули. И те, кто сделал это, не исключено, что выбрали отныне воровскую долю. Благодаря тебе.

Нет-нет, не только тебе, конечно. У них же и родители есть, которые «в меру сил» тоже... Одному, например, последние десять лет папаша чуть не ежедневно самодельные «бескозырки» дарит (кто не знает, объясняю: алюминиевая крышечка, снятая с бутылки, с раздвоенным язычком), у другого мамаша сама возле валютного магазина за чеки водкой торгует, да и не только водкой.

Вот, подхватишь ты, родители! И пальцем ткнешь в их сторону. Но не спеши с ответами, думай. И не злись, пожалуйста, на меня за такие слова...

Сидим с Надюхой на камбузе, ужинаем. Тошка спать уже лег. Радио тихонько попевает. Прислушались, а это Вахтанг Кикабидзе:

Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер.

Прямо о нас, честное слово. Гляжу, у Нади слеза вроде блеснула. Ну а дальше не о нас, да и «по-грузински» к тому же:

А костер разгораться не хочется,
Вот и весь разговор.

И некому, понимаешь, подсказать было певцу, что по-русски так нельзя.

Неужели действительно некому? Или побоялись? С одним земляком Вахтанга уже было такое. В славном 1945-ом. Написал он статью для «Правды» о Победе (а писал, в отличие от нынешних, сам), и там были слова: *наголову разбиты*. Он ошибся, хотя и считался великим грамотеем. Знаете песню: «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании главный корифей...». Написал раздельно: *на голову*. Правдисты в шоке: что делать? *Сам* ведь написал. *Сам!* Не править же *Самого!* Посоветались и решили печатать как написано. А наутро разослали «цэу» во все редакции и издательства: наречие «на голову» – исключение, пишется раздельно. Подозреваю, что *Сам* в могилу сошел, так и не узнав, что стал автором уникального наречия. У меня есть (в букинистическом случайно купил) «Толковый словарь русского языка» издания 1947 года, там именно так и написано. И в учебниках тех лет – так же. Во дела!

А Вахтанг тем временем уже другое поет:

Я часто время торопил,
Спешил во все дела впрягаться.
Пускай я денег не скопил,
Мои года – мое богатство.
Бог ты мой, опять обо мне...

Помню, в семнадцать казалось: сорок лет – жуткая старость. Года – богатство? Молодым это дико. Они подозревают тут притворство, лицемерие.

Вспоминается анекдот о теории относительности: – Два волоса на голове – это много или мало? – Мало. – А два волоса в супе?.. Все относительно, все сравнительно. Сорокалетка рядом с юношей – мать, а со мною рядом – считай, дочка. Я Надюшу так и зову: Доня. Ну а мои полста пять для молодого вообще *туши свет*, дремучая старость, плесень. Хотя это всего лишь чуточку больше половины человеческого века.

Но это все, как говорится, по идее. На самом же деле век у нас – 60—70. В эпоху свержения идеологии мы признались, наконец, что «самая передовая в мире идеология» сокращает человеку жизнь. Статистику в Союзе прятали лучше, чем золотой запас, но вот отверзлись эти закрома – и резко пошли на убыль оптимисты. Правда о детской смертности, одна-единственная цифирка, сагитировала за выход из партии лучше всех «врагов народа», всех «идеологических диверсантов» вместе взятых. И по средней непродолжительности жизни мы тоже на каком-то призовом месте – после племен, которые обитают в ядовитых болотах, кишасящих гадами и крокодилами.

Мои года – мое богатство...

В молодости я был неандертальцем. Даже когда мореходку закончил. Обходился преимущественно одним глаголом «давать», и то по большей части в повелительном наклонении. Хотя бывало и так: ну, ты даешь! Или: ух, я дал вчера!.. И даже подсобное существительное от него родилось: давалка. И мы тоже в те поры, в конце 50-х, базлали (кричали, значит): «Рок давай!». И книжек не читали – некогда. Для эрудиции хватало программной «Как закалялась сталь». Вообще образ стали пронизывал искусство и литературу, как факир пронзает клинками короб с ассистенткой. Только она выходит потом невредимой, в отличие от культуры.

Мыслительным процедурам молодого неандертальца, особенного его сравнениям, свойственная оглобелная прямолинейность. Человек состоит из тела, размышлял я и тут же «подводил черту», как учили: всё, кранты, остальное – поповщина, мракобесие. Тело с годами дряхлеет, продолжал я мыслительный процесс, вон, гляди: из него начинают сыпаться волосы, зубы, потом – просто песок. И, уже будучи механиком, проводил такую параллель: новый дизель ведь тоже лучше старого, изношенного, чадающего, пардон, мадам, как тот старпёр.

Параллель сия казалась мне гениальной, а рядом со «старпёром» уморительно смешной. И лишь много позже прочел я где-то, что уровень развития общества определяется его отношением к женщине и старости.

Вот когда впервые я начал задумываться: а почему у наших стариков нет должного авторитета, почему молодежь не уважает их? Ведь

Мои года – мое богатство...

А потому, отвечал я себе, что года для них – бремя, а не богатство. Потому как душой своей они, считай, не занимались вовсе. И детей воспитывали так же, и внуков, которым и неведомо о том, что уровень развития общества...

Бедные старики! И жили ведь не растительной вроде жизнью, могучими идеями жили, боролись за них, «светлое будущее» строили (пускай в кавычках, но взаправду). А о себе, получается, забыли? Ну не совсем, конечно. О гастрономических радостях старались не забывать, наркомовскую стограммовку блюли свято и зачастую многократно. Но баловать себя еще и духовными запросами почиталось (а многими, увы, почитается и сегодня) непростительным барством, уделом «гнилой интеллигенции». Интересно, кто автор этой *кликухи*, прилипшей к недоострелянным интеллигентам российским на столько лет? *Сам* или холуй какой?..

С культурой же поступили совсем просто – культурой было объявлено уменье «вести себя в обществе», за столом, в частности, чему придавалось значение особое.

Да, мы вольны сейчас зубоскалить над этим, предавать стариков анафеме в речах и песнях, но скажите честно, когда им было думать о душе? Многих ли хватало на заботу о подлинной культуре?

Когда у двигателя заканчивается моторесурс, когда клапана и подшипники выработаны вдрызг, он начинает пыхтеть и задыхаться, вонять горелым маслом. И вы роняете: пора в металлолом, на гвозди. Так же и старики наши: облысев, поседев, обеззубев, нажив артрит и язву, шабаш, говорят, пора на живодерню.

Но вы взгляните на стариков из той самой «гнилой интеллигенции». Видите, за кафедрой стоит седой академик, он говорит о всю жизнь любимых бабочках и личинках, подаривших ему, а через него человечеству, столько интересных открытий, и глаза семидесятилетнего ученого горят, как у влюбленного юноши. Он знает, что физический спад – не катастрофа, а закономерный переход из одного состояния в другое, к жизни духа. В точности как из куколки – бабочка.

Хватит у вас духу назвать его старпёром?..

Каждому – свое? Рожденный ползать летать не может? А как же быть с личинкой-червяком? Вот она замерла, окуклилась, а вот уже оборотилась воздушным созданием, крыльям и прекрасным – глаз не оторвать. Так и душа человеческая...

Мои года – мое богатство...

Захожу, значит, после овощного в гастроном, а продавщица мясо-молочного отдела, такая смугляночка-молдаваночка, перекладывает из мешка в сумку отборный картофан. Нет, в привычном нашем понимании это даже не картошка, а экспонаты для ВДНХ. Вот я и говорю, что картошка дружит с мясом, а мясо с картошкой. Правда, в отделе шаром покати, даже запаха нет никакого, ни мясного, ни молочного.

– Что, – говорю, – вы жилплощадь обменяли?

– Как это?

– Ну, с овощным. Там мясом пахнет, у вас – картошкой.

Смеется смугляночка белозубая, счастливая такая. Вот-вот вспорхнет или хотя бы запоет. Но она не поет, а сумка уже тяжела. Тогда я, уставясь в верхний угол пустопорожного отдела, напеваю про себя вроде:

Как-то утром, на рассвете,
Заглянул в соседний сад.
Там смуглянка-молдаванка
Собирает картофан...

– Виногра-а-д! – И смуглянка веселыми каштанами своими глядит на меня уже с интересом.

Меня такие взгляды всегда вдохновляли, и я выпаливаю ей про молдаванку, с которой была у меня р-роковая любовь в одна тыща девятьсот... И как пришлось мне, спасаясь от ее отца и братьев, с разбегу прыгнуть в самолет и очутиться на краю земли, то есть тут, во Владивостоке, на Эгершельде.

– А она, между прочим, очень была на вас похожа...

– А я болгарка, – словно извиняется смуглянка, и каштаны ее смотрят на меня жалеюще.

Мне и самому уже себя жаль. Я сокрушенно ворчу, что вот, мол, в Молдавии хоть вино и помидоры с брынзой есть, а тут – чем ребенка кормить?

– Курицу хотите? – Неожиданно предлагает смуглянка, зыркнув по сторонам. Но гастроном пуст, как и его витрины. И она достает из-под прилавка упитанную птицу. – Себе отложила...

Супешник Надюша спроворила – люкс. Тошка три дня расправлялся с бройлером. А на четвертый я снова потопал в тот гастроном. Увы, оказалась не болгаркина смена.

Плетусь домой, кляня переломные периоды в отечественной истории, переламинающие, как правило, хребты мужикам и мещанам. Утешаю себя тем, что годы зато на дворе другие, не тридцатые, не пятидесятые, не лагерные. Вон у Шаламова в рассказах жуть какая – читаешь, мураши по спине бегают...

И чтоб уж совсем приободриться, для душевного, так сказать, комфорта, я говорю себе: пенсион – это вещь! Многие, знаю, ругают его: дескать, и с работы тебя «ушли», и дома запилили. А я в восторге. Свобода. Читай – не хочу! Да какое чтиво-то пошло – пальчики оближешь. Почти на полный пенсион одних журналов выписал!

Да, досталось нашим отцам... Это я опять о «Колымских рассказах». Полон Шаламовым. Вот бы экам-доходягам, думаю, глядя на вывеску булочной, хоть на неделю, хоть на денек такую булочную в зону! И мы еще ворчим...

Захожу в булочную, эковскими глазами жадно разглядываю полки, полные булочек и кексов. В углу, где что-то вроде микрокафетерия, на прилавке вообще чудеса – бутерброды с колбасой, разноцветные соки в стаканах. Две холеные, нарумяненные (похоже, помадой) девицы, зевая, охраняют эти сокровища.

И вдруг меня осеняет. Эки, умеющие «тиснуть ро ман», как пишет Шаламов, получали дополнительную – спасительную! – пайку от паханов. А ну-ка...

Помню, «травил» я взалхлеб про гамбургеры в австралийских кафе, про гонконгскую косметику в нефритовых шкатулках, про блондинку, без памяти любившую меня за ту косметику...

Короче, минут через пятнадцать я вышел из булочной, прижимая к груди килограммовый колбасный гонорар за «роман».

Спасибо Шаламову! Ай спасибо! Вот действительно *учитель жизни*, как кто-то назвал писателей. Вывел меня на истинный курс, как говорят морские наши враги-братья штурманцы.

1992

Юбилейщики (Взаправдашняя история из жизни «Дальрыбы»)

Ю. К. и С. У.

У нас в Приморье «лето красное» совсем не красное, а белое – в туманах. Но это на побережье, а отъедешь от моря совсем немного – и обалдеешь от зеленой красоты, простертой в голубое небо: лилейных линий сопок, покрытых тайгой, их бархатных гребней и склонов, сходящих длинноногими кедрами и соснами к дороге, прорубленной в скальном теле сопки, десятикратно превосходящей самую великую из египетских пирамид.

Два «крузак» летят-пылят по «трассе краевого значения», которая – то асфальт, то грунтовка. На последней передний, в котором начальство, накрывает нас непроглядным облаком, и наш водитель сбрасывает газ. «Крузак», если кто не знает, это японский, тойотовский джип Land Cruiser (в переводе – земной крейсер), появились они в Приморье лет десять назад, сразу и вполне заслуженно стали супер-престижными и быстро, как крылатый лимузин Фантомаса, разлетелись по всему бывшему Эсэсэсэру. И все эти десять лет главные джиповладельцы, так называемые «братки», упорно именуют их *лэндкраузерами*, не желая ни в жисть, как поет Макаревич, «прогибаться под изменчивый мир», прогнувшийся под англоязычество.

Летим-пылим мы из административной столицы края в рыбацкую его столицу – поселок Преображение. База тралового флота, на бессмертном языке канцелярите «поселкообразующее предприятие», празднует серьезный юбилей – 70-летие. Одряхлевшее, обанкротившееся государство, выпустив из своих осьминожьих лап всё, что можно и нельзя было выпускать, позволило ограбить и обанкротить это самое всё. Приморье, сидя у моря, осталось в результате этой премудрой, а-ля Гайдар-Березовский, политики без флота и без рыбы. В России вообще считанные рыбацкие «конторы» остались на плаву, пройдя через рифы и мели акционирования-приватизации-«прихватизации». База тралового флота – как раз из считанных. Во Владивостоке, где на центральной площади торчит «зуб мудрости» (так прозвали приморцы свой «белый дом»), давно разграблены и пароходство, и рыболодфлот, и даже, казалось бы, мелочевка – портофлот, то есть буксиры, паромы, катера. Преображенская БТФ выжила и, больше того, процветает. Она уж тоже было загибалась, но вдруг, как в сказке, явился принц и спас «контору» от банкротства.

В эпоху перемен, жить в кою не советовал никому мудрый Конфуций, всё переменялось, в том числе и принцы. «Голубых кровей» как не бывало. Принцы, сплошь и явно краснокровные, пришли с рингов, ковров и помостов. С провозглашением *perestroik*'и в авангарде полета к капитализму оказались именно спортсмены (не говоря, конечно, о чиновной номенклатуре, отмывающей партийную кассу, но тоже очень уважающей спорт): боксеры, борцы и – само собой – всякие каратисты-рэкетисты. Монополию на стратегическую водку, которую государство также упустило, они подхватили прямо на лету, не дав ей долететь до земли. Всякую торговлю вообще и *adidas*'ами в частности – тоже. Преображеньем БТФ, сняв перчатки и сколотив на водке первичный капитал, занялся мастер спорта по боксу с былинной русской фамилией Кожемяка. Хвала ему и честь! Он не дал рыбакам спиться от безделья, а поселку погибнуть...

Вот об этом мы и толковали, сидя во втором джипе, пылящем на юбилей. В первом ехали главные юбилейщики – начальство рыбного отдела из «белого дома», а во втором – мы, маринысты, то есть два художника и поэт, ну и не вместившийся в первый джип рыбацкий начальник из «Дальрыбы», некогда Всесоюзного рыбопромышленного объединения – ВРПО, а ныне вроде бы заурядной, мелкой «конторы», то ли ОАО, то ли вообще ООО, но респекту до конца не утратившей.

Когда, выехав на грунтовку, передний джип начал кормить нас пылью, а наш водитель сбросил газ, чтоб поотстать, мотор и шины уgomонились, в машине стало тихо, и дальрыбак, до сей поры высокомерно, как думалось нам, молчавший, неожиданно улыбнулся компанейски и поведал историю прошлой своей поездки в Преображение, тоже юбилейной – на 50-летие БТФ.

Тогда, двадцать годов назад, они вот так же, на двух машинах, только не японских, а родных «волгах», черных, разумеется, пылили в поселок вручать руководству БТФ орден Трудового Красного Знамени. Событию такого ранга, «по протоколу», предшествовало создание юбилейной комиссии (если б юбилеилась сама «Дальрыба», то был бы комитет). Члены комиссии получили, само собой, командировочные, суточные, колесные, традиционно поздравили и обмыли председателя, взяли с собой в дорогу того-сего всякого, пивка там и прочего, ну и попылили. Причем грунтовка двадцать лет назад была много длиннее, и задняя «волга» уже на полпути притормозила, чтоб не глотать пыль из-под колес председательской машины. Тащиться на 30 км/час скучно, и кто-то из членов комиссии, зевнув во весь рот, сказал в наступившей относительной тишине: «Дайте хоть посмотреть на тот орден».

Все четыре члена, сидевшие в задней «волге», по очереди перерыли свои сумки-папки, однако ордена не нашли. Пришпорив железного пылесосного своего коня, наевшись пыли, догнали форварда и истошными сигналами остановили его. Председатель юбилейной комиссии с гранатой в руке (такой увиделась членам недопитая бутылка «жигулевского») приказал всем, включая водителей, «еще раз проверить свои гнидники». Потом – еще и еще раз. Увы...

Стали по очереди робко, но все же вслух вспоминать сборы и отъезд. Ну и самый, как оно бывает, дохлый и оттого почти не пьющий член вспомнил, что орден вроде бы остался в сейфе, в отделе промысловства, которым командовал как раз председатель комиссии. Председатель, еще немного погромыхав для порядка, выдал ключ от сейфа и откомандировал полкоманды «взад» за орден. От природы немногословный («Да, были люди в наше время!»), он напутствовал отъезжающих одним-единственным словом: «Мухой!!!»

Дом культуры поселка набит был, как говорят одесситы, «битками». И чтоб народ не истомился ждать прилета «мухи» еще четыре часа, председатель юбилейной комиссии мудро распорядился поменять местами пункты повестки дня – торжественную часть перенести на после концерта художественной самодеятельности с буфетом. Народ остался доволен во-о-т так! И когда прибыл орден и председатель лично приколол его на знамя БТФ, грохнули отретпетированно бурные и разогрето продолжительные аплодисменты, абсолютно непроизвольно переходящие в овации...

Вот говорят старики-ветераны: мельчает народ. Всё нынче не то, не тот размах, ворчат они. Ан нет же! Преображение за двадцать лет преобразилось как раз в другую сторону. И флота прибавилось, и новостройки появились, и – самое главное – юбилей забабахали так, что китайские императоры в своих гробницах заворочались: пиротехники ослепили ночное небо поселка таким крутым фейерверком, такими огненными цветами и фонтанами, что местным пацанам хватит теперь воспоминаний до 80-летия БТФ. А дом культуры чуть не до утра звенел стаканами и песнями не доморощенных, а самых настоящих столичных соловьев – Надежды Дедкиной, Льва Минтаенко и других. Были, как выяснилось почему-то позже, аж наутро, даже с «черного континента» гости – негры и негритянки. Проездом из Италии в Италию заглянул в Преображение и местный оперный кумир Эдуард Степанов. Кажется, поклонники искупали его в шампанском. По другой версии, в шампанском пытались отмывать гостей из рыбодобывающей Африки. В общем, как вы сами понимаете, было весело, не хуже, чем двадцать лет назад. Хотя и без орденов обошлось. Впрочем, не совсем... Зато одних буклетов и разнопрочих ярkokрасочных юбилейных изданий было выпущено на сто тысяч долларов! Знай наших!

Юбилей в переводе с древне-еврейского – бараний рог. Ох, знали древние евреи, как нас сгибают юбилеи... Но ведь и мы не лыком шиты: не посрамили флот пииты... Мы наеба... то есть наюби-ле-и-лись вот так, от души! Недаром говорится: всё пропьём, но флот не опозорим. Наутро наш поэт, одеваясь, обнаружил, во-первых, у себя на груди орден Трудового Красного Знамени (мы не поленились, сходили и проверили: нет, нам не двоилось, на старом, красном еще, знамени БТФ он отсутствовал), а во-вторых, разразился поэт двустушием, которое, думается, войдет в хрестоматии. Вот оно, бессмертное:

А вы не просыпались после пьянки
В объятиях столетней негритянки?..

Дружно свидетельствуем под присягой: всё было именно так!

2001

Пирожки с икрой

Жила-была некогда на берегу Тихого океана, как говорят рыбаки, *контора* под нежным названием ТИХОРЫБА, главк, командовавший всеми океанскими промыслами на Дальнем Востоке. Начальником в Тихорыбе был Григорий Александрович Москаль. Фамилия, прямо сказать, подарок хохлам, которых в Приморье в иные годы насчитывалось до восьмидесяти процентов. Имя-отчество, между прочим, тоже не подкачало, угодив прямо в десятку. Но об этом – ниже.

Дальневосточным рыбакам, особенно капитанам, лучше других знающим, откуда рыба гниет, очень не нравилась Тихорыба. Да и кому ж из тех, кто с сошкой, понравятся семеро с ложкой, если это, конечно, не родные чада, а чиновники? На рыбацкой шее, заветренной до черноты и – украинское словечко – порепанной, как монгольский такыр, восседали чины аж в четыре ряда: в министерстве – «сотрудники главных управлений министерства»; в главках – в совершенно одноименных отделах, столь же густо населённых – ворочали тонны циркуляров, сводок, отчётов стопроцентные дублёры министерских управленцев; в территориальных управлениях (Приморрыбпром, Камчатрыбпром...) точно тем же самым занимались в опять же одноименных отделах спецы – ведущие, главные, старшие, флагманские; и наконец в производственных управлениях, переименованных затем (дабы в глазах не рябило) в базы флота, все уныло повторялось один к одному – те же отделы, те же спецы, та же надутая зевота и те же повышенной жирности оклады. Вот и получалось: как ни крути рыбак своей чёрной шеей в том четырёхзвенном ярме, заработок с каждым годом съёживался, чиновники множились, рыба, ценимая во всем мире дороже мяса, считалась харчем второсортным (за исключением, разумеется, осетрины да сёмги), а одно время даже была всенародным наказанием в виде «рыбных дней» в общепите.

Трёхзвенные хомуты в других отраслях не так натирали подъяремные шеи, и то тамошний люд мутился и стонал. Рыбакам же внушало долготерпеливость само море. Однако ж и долгому терпению есть предел. Капитаны первыми зароптали: *нам не нужна Тихорыба*. Цепная реакция ропота привела к эпистолярному взрыву: правительство, редакции газет атаковал солёный поток писем. И в Тихорыбу из министерства отрядили высокую комиссию...

Князь Потёмкин-Таврический, как известно, прославился не только ратными подвигами, но и «потёмкинскими сёлами» с пряничными декорациями изб и ряжеными крестьянами во ублажение императрицы. Полный тёзка князя Григорий Александрович Москаль в несоизмеримом масштабе, конечно, но порато, как говорится, следовал примеру светлейшего.

Упреждённый, так уж водится на Руси, это Гоголь ещё заметил, о грядущей комиссии, Москаль собрал хурал и по-городничьи объявил: *к нам едет ревизор!* Зашуршало в бумажном царстве, застрекотало. Срочно-вдохновенно-ревностно готовилась Большая Залепуха – десятки глав, сотни параграфов, тысячи пунктов. Тихорыба напряглась, дабы безапелляционно доказать одно: без Тихорыбы рыба в Тихом океане ловиться не будет ни за что!

Завстоловой Тихорыбы Вилена Рэмовна, дородная, как и положено ей по должности, гладколицая дама немного забальзаковского возраста, естественно, красящаяся в симпатичные фиолетовые цвета, добрая не только оттого что раздобревшая, а вообще по складу характера, была удивлена звонком Самого, приглашением в высокий кабинет на эксклюзивную, как это нынче называется, аудиенцию.

– Хосподи ж милосердный, да шо ж такое творится?! – Воскликнула она, глядя в очи шеф-поварихи, комплекцией и статью смахивающей на неё, как родная сестра. – За десять ходов (годов, значит) первый ото раз у свой кабинет зовёт!

Да, это было именно приглашение, хотя ясновельможный начальник главка обычно не приглашал подчинённых, а вызывал. Да и то чаще через секретаршу. А тут – Сам. Вилена

Рэмовна скоренько облачилась в новёхонький, муха не сидела, белоснежный халат, огладила себя по крутогорьям, охорашиваясь перед трюмо, и поплыла на зов.

И снова – в который раз – в краснодеревном, паркетном том кабинете прозвучало классическое *к нам едет ревизор*. А дальше вопросы пошли: что нужно, чтобы за три дня столовая превратилась в кафе? Чем удивить московскую комиссию, объезжую там, у себя на западе, севрюгой и чёрной икрой?

– Дорогая моя, – чуть не взмолился Москаль, – не подведи, прошу тебя, напряги воображение, изыщи что-нибудь такое-этакое, чем можно гостей наповал сразить...

И дело закипело. По щучьему веленью на окнах зала появились бархатные вишнёвые шторы, столы накрылись цветастыми, в василисках да крылатых драконах, шёлковыми скатертями (благо, Китай рядом), стены драпировал-декорировал художник из театра, который тоже рядом, ну и он же свистнул братьям-богомазам: тащи, ребята, натюрморты свои! И ребята расстарались – стряхнув паутину и соскоблив плесень со своих бордовых мяс, синих рыб, розовых крабов, разноцветных груш и сакур, развесили их по стенам столовой, пардон, уже кафе.

Вилена Рэмовна, которой Москаль предоставил карт-бланшированные возможности (к тому же в ее подсобку уже завезли целую дюжину ящиков элитных напитков), выкатила художникам, кроме гонорара, разумеется, шикарное угощение на кухне.

– Вилена-свет-Рэмовна, позвольте вас расшифровать, – художники ж народ грамотный да общительный, – Вилена – это значит, Владимир Ильич Ленин, так? А отчество – Революцияэлектрификациямировна, так?

– Так, хлопцы, так. Батьки мои коммунисты до мозгу костей были. Ото ж и дали такое приданое, ага. Вы пригощайтесь, гостюшки дорогие, не стесняйтесь.

На широченном кухонном столе, за долгие годы воронённом мясными и рыбными кровями, подливами да соусами, красовались закуски и бутылки, способные вдохновить «хлопцев» на новые натюрморты: «Столичная» в экспортном исполнении, «Уссурийский бальзам» в красивой фарфоровой посуде и – гвоздь сюжета – двухлитровая, золотисто-коричневой башней возвышавшаяся бутылка японской водки сакэ. Художники, цокая языками, долго вертели, прежде чем разлить, всю эту экзотику в руках, читали вслух писанный золотом на фарфоре бальзама текст:

Оригинальный букет экстрактов растений уссурийской тайги. Легендарный женьшень, элеутерококк, лимонник и ещё более десяти целебных тайжных дикоросов – источники сил, здоровья, долголетия. Рекомендуется в малых дозах добавлять в чай, кофе, водку.

– В ма-а-лых дозах, – дурашливо блеял бородач, булькая собратьям чуть не по полстакана бальзама и смешивая его с сакэ.

Глубокая тарелка, полная рубиновой икры, целый брус жёлтого сливочного масла, только что из холодильника, со слезой, белый ноздреватый хлеб судовой, рыбацкой выпечки, несколько открытых, благоухающих баночек крабов довершали картину.

Художники, посклоняв головы в разные стороны, полюбовавшись и словно стыдясь святотатства, осторожно приступили к разгрому натюрморта. Вилена рванулась было по делам, но один из бородачей, самый богатырь, нежно обхватил её необъятную талию и усадил рядом с собой:

– Вы ж, дорогуша, не каждый день с художниками бальзама вкушаете. Побудьте с нами, не пожалейте времени. Оно ж – песок, суета.

И так он это хорошо и по-библейски убедительно сказал, что она покорно приземлилась рядом с богатырём. И действительно не пожалела, потому что именно тут, в застолье и явилась ей главная идея – как и чем сразить московскую комиссию. Но – по порядкуку.

Налили и подняли «за хозяйку», потом за дружбу производства с искусством, а следом – третий, как говорится, святой тост «за тех, кто в море». И пошло-поехало: кто баталист, кто маринист, кто в море побывал, кто вот этого крабушка повидал не только на столе,

но и на палубе краболова, да, там, на далёкой «полста восьмой широте», у западного берега Камчатки, у острова Птичьего...

Боже мой! Душа Вилены птицей трепыхнулась в груди. Боже мой, родные люди!

– Да я ж три года там жила, хлопцы!

– Как? – Удивился богатырь, который бывал на крабовом промысле. – Разве он обитаемый? Он же крохотулечный совсем.

– А ото ж, на той крохотуле мы и жили! – Гладкое лицо Вилены расцвело радостной улыбкой. – Он метров пятьсот длиной, ага, и метров двести у самом широком месте...

И наплыли живыми, цветными, озвученными видеокдрами воспоминания без малого двадцатилетней давности. Ей тоже тогда, в середине шестидесятых, было без малого двадцать. После харьковского кулинарного училища она завербовалась «на Далекий Схид», на Дальний Восток, да куда – на Камчатку, в Хайрюзовский рыбокомбинат, а оттуда уже попала на Птичий, в крабоконсервный цех, кормить таких же вербованных девчат, верботу – разделщиц и укладчиц краба в баночки. «Павук страшный», как называли его по-первости землячки, стал скоро для них всем – работой, наказаньем, радостью, а порой и единственной едой. Когда заштормило надолго, а баржа с продуктами перевернулась и утонула у самого берега, было такое. Недели две одними крабами питались. Между прочим, это морское мясное пирожное – харч весьма коварный: наешься – и тянет на любовь. А в бараке ж одни девки. На весь остров было два мужика, да и те с жёнами – метеорологи, отдельно жили, на сопке, в домике метеостанции.

Вот так и приглядела Вильку-Ленку-Поварёшку-Пампушку в любовницы себе чернокудрая красавица Нинка-Нинон, тридцатилетняя художница-ткачиха (раскрашивала ткани) из Иванова. Да, сейчас ни одной живой душе не открыться, стыдоба берёт. А тогда, там, на острове, по молодости, Господи, прости нас, грешниц, прости... Благородные девицы венчаются в храме и дарят девственность избранникам – рыцарям да принцам, а ей вот так выпало расстаться с невинностью – в пропахшем крабьим духом бараке, в жарких объятиях Нинон, среди вздохов и стонов других «сладких парочек», как называли б их нынче. Но если по-честному, она ни о чём не жалеет, ей очень хорошо было с Нинон. Ох, Нинка, где ты сейчас, как ты, нашла ли свою долю?..

А художники уже захорошели, разговорились, разбалакались вовсю. В том числе и на гастрономические темы.

– Ай, ребятушки! – Бородатый богатырь подцепил на вилку розовую крабью ножку. – А и чего только из него не делают на краболовах! И жарят, и варят, и пекут...

– Мы даже пельмени делали, – стыдливо потупив глаза, обронила Вилена, полная иных воспоминаний.

– Аббревиатура Фиолетовна, – уставясь на её пышный бюст и уже прилично запинаясь, проговорил седоусый богомаз, в чьих усах, точно у моржа, только что сожравшего беременную кетину, застряли красные икринки, – вот скажите, вы знаете, почему нашим, советским буржуйам так нравится вот это все, – он обвёл стол своей пролеткультовской рукой в пиджачном рукаве, перемазанном всей палитрой, – икра... икра-бы, ась?

– Вась-Вась! – Эхом откликнулся богатырь, чтобы замять неловкость от «Аббревиатуры». – Васильич, да ты ж и сам, я ж видал на Шикотане, только так трескаешь эти самые *икрабы*, когда к девушкам собираешься. Аж в усах вон застряёт.

Все засмеялись, глядя на старого ловеласа, выпивоху и обжору, автора таких же развратных, по общему определению, натюрмортов.

Тема «икрабов» очень вовремя направила мысли Вилены Рэмовны в нужное русло. Пельмени с крабами, ватрушки, украшенные сверху вроде как брусничкой – лососёвой икрой. Да, чего только не сочиняли девки на Птичьем, голом, скальном, без единого деревца острове, как только «не знушались», не изгалялись над той икрой: и варили её, и жарили, и чайчы яйца

фаршировали. Хлеба вот только не было на острове и муки – в обрез. Господи, до чего ж ото обрыднуть может и самое царское кушанье!

Её аж передёрнуло от тех гастрономических воспоминаний. Но тут же мелькнуло и нечто, похожее на озарение. Недаром же говорится: с кем поведёшься...

Проводив художников, выделив на дорожку от щедрот по банке крабов и бутылке пива на брата, Вилена пошла прогуляться по городу. Неподалёку от Тихорыбы тихо процветал магазин «Дары тайги». Сквозь запотевшее стекло прилавка-холодильника плотоядно глянули на неё изюбриные и кабаньи окорока, глыбы медвежатины с запёкшейся кровью. Но нет, это не вдохновляло её на кулинарные подвиги. И фазаньи тушки тоже. Зато полки под надписью «Дикоросы» с лохматой лозой лимонника и колючками элеутерококка непонятно отчего дали неожиданный толчок воображению. Может, опять аукнулась давняя островная тоска по нормальной человеческой жизни – по деревьям, овощам, мужикам, куриным, не чаячьим яйцам. Прости нас, грешных, Господи!..

Разомлев от застолья с художниками, плыла Вилена под августовским солнцем по улицам Владивостока и тихо мечтала о земных радостях, казалось бы, в досталь доступных ей в последние десять благополучных лет: непьющий муж, дочь школьница, хлебная должность. Но вот всколыхнулось прошлое, задышал девичий барак, пропахший крабами и рыбой. Нет, нет, с тех самых пор не было у неё, к сожалению, ничего похожего, ничего слаще тех первых утех. Ах, Нинон, шо ж ты такое наробыла с дивчиной, га?

Это соседка по койке, молчаливая обычно слушательница-свидетель их любви, однажды утром не выдержала и так вот полушутя-полусерьёз «отчитала» Нинку. А как Нинка уплетала за обе щеки вареники с крабами, которых никто уже не мог есть! Наверно, чтоб угодить своей возлюбленной Поварёшке, которая не знала, «не розумила вже, шо з них, с павуков тех, робыть».

Да, любовь, в каком виде, в каком образе нам Бог её ни даёт, всё равно остаётся любовью, чудесным, самым-самым добрым чувством, найсамисиньким гарным почуттям!

Любовно-кулинарная ретроспектива незамедлительно принесла плоды. В голове Вилены Рэмовны – пусть нечётко очерченный, словно выплывающий из тумана корпус краболова – возник замысел. То, что там, на острове Птичьем, двадцать годов назад обрыдло им до смерти, те самые как раз кухарские эксперименты, да, именно они сейчас и пригодятся!

На центральной площади бурлила-вирувала ярмарка. Вилена с ходу – запаравская пловчиха – нырнула в те буруны, прошла вдоль рядов мясных и рыбных, не всколыхнувших ни мысль, ни душу, и подплыла к рядам овощным-зеленым. Роскошные помидоры всех сортов, от яблочно-янтарного до кроваво-красного «бычьего сердца», огурцы, полуметровые китайские и свои, приморские, светло-зелёные такие кабанчики, крепенькие и прохладные на ощупь. Вместе с помидорами, огурцами, редиской продавалась и зелень: лук, укроп, петрушка, щавель, черемша. Зелёное всегда радует глаз, и Вилена неспешно плыла мимо зелёных куш, словно Деметра-Церера на триумфальном обходе земных своих владений. Умиротворение, внутренний свет озаряли тихой улыбкой гладкие черты Вилены, делая её сейчас удивительно похожей на ту Поварёшку-Пампушку, в которую двадцать лет назад влюбилась чернявая художница Нинон...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.